МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

П. К. ГУБЕР

ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК ПУШКИНА



П. К.Губер

Донжуанский список Пушкина



Москва
Берлин
2021

УДК 82.09(47)
ББК 83.3(2=411.2)52-8,2
Г93

Губер, П. К.

Г93 Донжуанский список Пушкина / П. К. Губер. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 260 с. : ил.

ISBN 978-5-4499-2464-3

О фактах, изложенных в этой книге, в школе ничего не рассказывают. А между тем Донжуанский список А. С. Пушкина, в основу которого легли имена женщин, лично записанные поэтом в 1829 году в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой — супруги приятеля А.С. Пушкина, открывает нам великого поэта с еще одной, не до конца изученной стороны.

Основываясь на выводах исследователей-пушкинианцев, автор издания — переводчик и литературовед Петр Константинович Губер (1886—1941) — обобщил в издании все материалы по Донжуанскому списку, накопленные к началу XX века. «…Не подлежит спору, что в эротическом отношении Пушкин был одарен значительно выше среднего человеческого уровня. Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии…» и, как отмечали современники, женщинам Пушкин нравился. Теперь и вам, уважаемый читатель, предоставляется уникальная возможность ознакомиться со списком сердечных привязанностей гения русской и мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина.

УДК 82.09(47)
ББК 83.3(2=411.2)52-8,2

ISBN 978-5-4499-2464-3

Предисловие
Пушкин и русская культура

Вошло в обычай называть Пушкина великим национальным поэтом преимущественно перед всеми другими русскими поэтами. В наши дни это почти аксиома, но разрешите трактовать здесь аксиому как теорему, еще подлежащую исследованию и критике.

Некоторые объективные признаки общенационального значения Пушкина, бесспорно, имеются налицо. Едва ли не в каждом губернском городе европейской России есть бульвар или общественный сад, украшенный бюстом курчавого человека с толстыми африканскими губами. Во всех российских гимназиях ученики, перевирая и не понимая, твердят наизусть «Памятник» и «Приветствую тебя, пустынный уголок». Нет такого учителя словесности, который ради Пушкинского юбилея не счел бы своим долгом прибавить новую банальность к существующему исполинскому запасу.

— Помилуйте, — заметят мне, — стоит ли упоминать подобные мелочи, рассуждая о соотношении двух таких величин, как русская культура и поэзия Пушкина? Действительно, шедевры провинциальных скульпторов и диатрибы школьных ораторов немногого стоят. Беда только, что, распростившись с памятниками и со школами, мы немедленно вступаем в спорную область, где нельзя сделать ни одного шага, не рискуя жестоко погрешить против исторической и эстетической правды. Будем поэтому осмотрительны, не станем принимать на веру ни одного из числа установленных и общепринятых мнений на этот счет.

Нам говорят: в течение без малого ста лет Пушкин был в России самым любимым поэтом. Его читали и продолжают читать иногда больше, иногда меньше, смотря по уклону умственных интересов данного поколения, но в общем он всегда имел более значительное число усердных читателей, нежели

любой другой автор, писавший стихами по-русски. И при жизни, и после смерти у него почти не было достойных внимания литературных врагов.

Если оставить в стороне Писарева, нападение которого, остроумное по форме, но довольно тупое по существу, было внушено соображениями превратно понимаемой публицистической тактики, Пушкина восхваляли почти все, кому только случалось говорить о нем. Он всегда обладал способностью эстетически очаровывать людей, приближавшихся к нему. Этого очарования не избежал в конце концов и сам Писарев.

О творчестве Пушкина были написаны лучшие страницы русской литературной критики. Тургенев, Достоевский называли себя его учениками. Наконец, он основал школу: Майков, Алексей Толстой и даже Фет являются его продолжателями в поэзии.

Со школы мы и начнем: секрет, в наше время уже достаточно разоблаченный, состоит в том, что Пушкинской школы никогда не существовало. Как у Шекспира, у него не нашлось продолжателей. Майков и Толстой, весьма посредственные стихотворцы, быстро устаревшие, пытались воспроизвести некоторые внешние особенности пушкинского стиха, но это им совершенно не удалось в самой чувствительной и деликатной сфере поэтического творчества — в сфере ритма. Что касается Фета, то он, конечно, примыкает всецело к другой поэтической традиции: не к Пушкину, а к Тютчеву.

Знаменитые критики и великие писатели, говорившие о Пушкине, высказали множество глубоких и плодотворных мыслей по поводу его поэзии. Разбирая «Евгения Онегина», Белинский объяснил русскому читателю, каким должен быть нормальный, здоровый брак, а Достоевский в известной речи превознес до небес главнейшую русскую добродетель — смирение. К несчастию, у Пушкина имелись свои собственные понятия о браке, выраженные, между прочим, и в «Онегине»

и отнюдь не согласные со взглядами Белинского, а славянофильского смирения у него совсем не было.

Отзываясь на пушкинское празднество 1880 года, Константин Леонтьев писал: «Ново было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного стремления к многообразному, чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина».

Вот глубоко верные строки. Но они стоят совсем одиноко в русской критической литературе XIX века, и их автор пользовался славой неисправимого любителя парадоксов. Белинский и Достоевский, столь несхожие и по мировоззрению, и по характеру, сошлись, однако, и друг с другом, и с подавляющим большинством своих современников в непонимании истинного смысла пушкинской поэзии. Все любили Пушкина, плененные эстетической прелестью его творений, но эта — по слову Тютчева, первая любовь — была любовь слепая, почти инстинктивная. Оправдать ее не умели и не могли.

Но подойдем к предмету с другой стороны: обратимся ко второму члену занимающей нас проблемы — к русской культуре, вернее, к тому традиционному и в известных исторических пределах верному понятию о ней, которое можно почерпнуть из русской литературы от тридцатых годов до начала нового столетия.

Русская духовная культура, а также и русская литература, ее выразившая, знаменуется следующими характерными чертами:

– во-первых — этическая, учительная, проповедническая тенденция, утверждение и оправдание морального добра в мире и обличение морального зла;

– во-вторых — тенденция социально-гуманитарная, сочувствие к слабым и угнетенным, искренний и последовательный демократизм;

– в третьих — частью инстинктивная, частью сознательная и открыто выражаемая антипатия к государству и к

неизбежным атрибутам его — принуждению и юридической нормировке;

– в четвертых — черта, правда, не всеобщая, но все же чрезвычайно широко распространенная и для некоторых наиболее интересных направлений русской мысли самая характерная — идейная вражда к европейскому западу, недоверие к его культуре, отвращение от его бытового уклада и его социально-политического строя;

– наконец, в пятых — поскольку речь идет о литературном стиле и об эстетике — пренебрежение внешней формой во имя значительности содержания, отсутствие риторического элемента, культ простоты и непритязательности.

И вот, если не производить вопиющего насилия над Пушкиным, если не стремиться вычитать из его сочинений то, чего в них нет и никогда не было, то придется признать, что вся его литературная деятельность определяется свойствами диаметрально противоположными. Пушкин встает перед нами каким-то исключением, каким-то гениальным выродком в семье русских писателей.

Не ищите у него морали. Его муза воистину по ту сторону добра и зла. В его поэзии нет никакой этической проповеди, никакого учительства, никакого нравственного пафоса. Моральное прекраснодушие ему смешно, а моральный ригоризм чужд и непонятен.

Далее: это аристократ, верный всем предрассудкам своей касты. В юношеских стихах он довольно осторожно напал на крепостное право, и «рабство, падшее по манию царя» вошло в хрестоматии. Но куда прикажете поместить статью, написанную в пору совершенной зрелости и содержащую весьма искусную апологию того же крепостного права? Нет решительно никаких оснований предполагать, что Пушкин готов был в данном случае покривить душой и писал не то, что думал.

Мало сказать, что Пушкин никогда, даже в отдаленной степени, не был врагом государства. Нет, он проявил себя

настоящим фанатиком государственной идеи, совсем в стиле Карамзина. Даже незрелый, не установившийся либерализм его молодости окрашен в русские государственные цвета. А когда после 1825 года в политических воззрениях поэта совершился перелом, государственно-консервативные симпатии стали обозначаться все сильнее. Те, кто в наши дни стремится изобразить Пушкина тридцатых годов в виде тайного вольнодумца, не за совесть, а за страх примирившегося с существующим порядком вещей, оказывают плохую услугу его памяти. Правда, и в переписке, и в дневниках этого периода нетрудно найти резкие отзывы о событиях и деятелях Николаевского царствования. Пушкин не умел и не хотел быть односторонним и добровольно слепым в политике (опять как будто не русская черта). Но, восставая против злоупотреблений, он не позволял себе обращаться к их основе. Быть может, мы и не имеем права сказать, что неограниченное самодержавие казалось ему высшим идеалом государственного устройства. Говоря о политических и общественных взглядах Пушкина, вообще лучше избегать слова «идеал». Но вполне очевидно, что сейчас же после декабрьского бунта он пришел к убеждению не только в неизбежности, но и в величайшей пользе для России Николаевского абсолютизма. И мысли этой остался верен до самой кончины.

Будучи крайним государственником и воинствующим патриотом, Пушкин тем не менее ни при каких обстоятельствах не выражал принципиальной, идейной вражды к Западной Европе. Если бы он дожил до славянофильской пропаганды, то, вероятно, немало злых эпиграмм вырвалось бы у него по адресу Хомякова и его товарищей. Ему не пришлось ни разу, несмотря на пламенное желание, побывать за границей. Все же умственно он чувствовал себя в Европе как дома. В области литературы исконные европейские сюжеты (например, сюжет Дон-Жуана) были ему вполне по плечу. Любое из его произведений можно перевести на иностранный

язык, и оно будет одинаково доступно и англичанину, и французу, и испанцу.

Но отчего в таком случае Пушкин сравнительно мало известен европейскому читателю, гораздо меньше, чем Толстой, Достоевский, Тургенев?

Только потому, что успешно перевести Пушкина на чужой язык возможно, лишь сделавшись вторым Пушкиным. Не говорю уже, что адекватный перевод стихов вообще невозможен. Но применительно к Пушкину невозможность усугубляется. Форма слишком много значит в его произведениях: она — эта форма — неотделимая от содержания и доведенная до высокой степени совершенства, являет собою не оболочку, а подлинное существо пушкинской поэзии. Пушкин искренно изумился бы, если бы ему стали внушать, что, взяв перо в руки, надо думать о том, что писать, а не о том, как писать. Оба эти вопроса всегда предстояли ему слитые воедино. Значит, здесь мы снова видим резкий разрыв с привычными, прочно установленными обыкновениями русской литературы.

Итак, по-видимому, мы приближаемся к выводу, который должен возмутить и оттолкнуть нас: Пушкин не был выразителем русской культуры. Он как бы воспроизводит заново, в иных условиях, историю своего предка, Абрама Петровича Ганнибала, африканца по крови, француза по образованию и вкусам. Арап среди гипербореев, Пушкин не имел продолжателей, не оказал никакого воздействия на дальнейшие судьбы русской литературы, которая немедленно после его смерти пошла своим собственным, отнюдь не пушкинским путем. Позднейшим поколениям он не завещал ничего, кроме ряда эстетических эмоций. Уж не догадывался ли он сам об этой особенности своей литературной судьбы, когда — устами Сальери — говорил о Моцарте:

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет!

Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника вам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!

Такой вывод принять трудно. С некоторой тревогой и даже с гневом мы начинаем перебирать вновь, звено за звеном, всю цепь наших посылок и заключений. Полно, не было ли в них какой-нибудь ошибки?

Да, отвечу я, ошибка была. Мы неправильно отождествили русскую культуру вообще с умственной культурой трех последних четвертей XIX столетия. Такое отождествление слишком узко и грешит отсутствием исторической перспективы.

XIX веку предшествовал XVIII, от него существенно отличный. К XVIII столетию принадлежал и его поэтическим выразителем оказался Пушкин.

В русской истории XVIII век есть век удачи и успеха, век энергических усилий, увенчанных счастливыми достижениями, век смелости, новизны и внешнего блеска, век по преимуществу аристократический и дворянский, жестокий век не менее жестокий, чем эпоха Великой Европейской войны, так что XIX столетие представляется какой-то интермедией гуманности между двумя актами кровавой драмы.

То была эпоха чувственная, легкомысленная, дерзкая, скептическая, очень умная и даже мудрая по-своему, но без всякой психологической глубины, без способности к рефлексии и анализу, почти без морального чувства, с религией, всецело приспособленной к государственно-практическим целям. Эта эпоха оглушала себя громом побед и громом литавр; упивалась наслаждениями в полном сознании их непрочности и мгновенности; тратила силы, не считая; не боялась смерти, хотя любила жизнь до безумия.

Рядом со своим предшественником XIX век кажется каким-то неудачником: в его анналах только поражения, несбывшиеся надежды, горькие сожаления. Это век совестливый, мнительный, болезненно щепетильный, неспособный ни переносить страдания, ни причинять их. Его суждения о людях и вещах сплошь да рядом производят впечатление наивности и даже недалекости. Но вместе с тем он гораздо более сложен психологически: внуки знают и чувствуют многое такое, о чем деды не имели понятия. В отличие от XVIII, русский XIX век умеет ставить, если и не разрешать, философские проблемы, в общественных отношениях он ищет справедливости, в религии он мистик, в политике простодушный идеалист. Незаметно, понемногу он теряет и расточает большую часть того, что было приобретено холодным макиавеллизмом и тонким политическим искусством предыдущей эпохи. На рубеже XIX столетия Россия была первой державою Европейского Востока и, короткое время спустя, сделалась гегемоном всей континентальной Европы, вершительницей ее судеб. В конце века Россия — держава сравнительно второстепенная, понемногу втягивающаяся в орбиту чужой политики. Еще несколько лет — и для нее наступает пора внешних унижений, частичных разделов, политического и территориального умаления. Победа над Наполеоном была окончательной реализацией культурного перелома, совершенного Петром Великим, Японская война и весь период, за нею последовавший, — реализацией движения, начатого русским образованным классом и русской литературой после Пушкина и вопреки Пушкину.

XVIII столетие оставило в наследие потомкам не только территорию, разделенную впоследствии на тридцать пять губерний. Оно не было чуждо искусства: благодаря ему мы имеем наши красивейшие здания, до сих пор украшающие Петербург, наши лучшие картины, дворцы Растрелли, полотна Левицкого и Боровиковского. Но в области слова это

столетие было немым. В дипломатии, в светском обиходе и в любви, трех высших планах тогдашней жизни, царствовал французский язык. Литературная русская речь еще не была создана, и XVIII век понемногу выковывал это орудие, выковывал медленно, терпеливо, упорно, в полном сознании великой важности этой задачи, и выковал наконец. Но к тому времени в секулярном календаре уже успела появиться другая цифра.

Зато это орудие досталось Пушкину, и в его лице русское XVIII столетие впервые обрело дар слова. Пушкин стоит перед нами не как изолированное явление, не как гениальная загадка, но как законный, правомочный представитель большого и важного периода в истории русской культуры.

В этом его сила, но в этом и слабость. Ему едва исполнилось тридцать лет, его талант зрел и мужал, а между тем передовые люди того времени, например Полевой, объявляли его отсталым. Мы изумляемся художественной слепоте Полевого, но ведь исторически он был совершенно прав. Пушкин действительно как бы опоздал родиться, и среди людей, бывших годами лишь немного его моложе, чувствовал себя совсем чужим. Если бы он дольше прожил, это отчуждение, конечно, сказалось бы еще сильней. Завершитель старого, он не мог быть зачинателем нового. Таким образом разъясняется и провал пушкинской школы, и отсутствие влияния на ход позднейшей русской литературы.

Остается последний вопрос: что знаменует наше теперешнее пушкинианство, наше усиленное, напряженное, почти лихорадочное изучение Пушкина — простой исторический интерес или нечто другое, большее?

Здесь можно ответить только предположительно.

Если мыслить национальную культуру, как единую сущность, которой основание неизменно и которая лишь выявляется различным образом в разные исторические эпохи, то можно допустить, что определяющие идейные

и психологические особенности одного культурного периода не отмирают целиком с наступлением нового периода, но словно скрываются под землю и там, недоступные для глаза, продолжают свое течение, дабы, при изменившихся исторических обстоятельствах, обнаружиться вновь. Отсюда наблюдаемая часто в истории повторяемость культурных эпох. Так, историческое событие, именуемое Возрождением, имело свои прообразы в Высоком и в Раннем Средневековье, в первый раз еще при Карле Великом. Так, европейский XVIII век во многих отношениях воскресил традиции XVI, начисто, казалось, прерванные XVII столетием. Сходство, проистекающее из такой повторяемости, никогда не бывает фотографически точным: прошлое возникает в настоящем с измененным и преображенным ликом, иногда обогащенное в смысле разнообразия и полноты, иногда обедневшее и оскудевшее. Не сознательное подражание, а непроизвольное воспроизведение, давно исчезнувших характеров, наклонностей и устремлений имеет здесь место. Подземная струя, долгое время протекавшая среди пещерных тайников народной жизни, вновь пробивается наружу и становится видимой для всех. Но лишь историку дано бывает постичь, что перед ним струя не новая, впервые излившаяся из первозданных недр, но старая, давно знакомая, уже изученная по пыльным хартиям, изображенная в летописях и мемуарах.

Допустив правдоподобность изложенной гипотезы, мы уже сравнительно легко согласимся, что и XVIII век мог не стоять в русской истории совершенно изолированно. Ничто не мешает ему послужить прообразом эпох новых, еще не наступивших. Уже не двадцатому ли столетию сужден этот удел?

Если бы разочарованный, недоверчивый, скептический наблюдатель наших дней мог перенестись в Петровскую эпоху, если бы он посетил Преображенский застенок, заплеванную кордегардию Кригс-комиссариата и бесчинную ассамблею,

где недавно обритые и еще сиволапые московиты пьянствовали в компании голландских матросов, среди облаков кнастера и сивушных испарений, если бы он увидел мазанковые здания первоначального Петербурга, низкие заболоченные острова Невского устья, всю тогдашнюю грязь, невежество, распутство, головотяпство, холопью забитость одних и хамское чванство других, он, конечно, не усмотрел бы во всем этом даже намека на пышные дворцы, гранитные набережные, прекрасные галереи, на екатерининских кавалеров и просвещенных вельмож, на дерзкое вольнодумство, изящество и утонченность жизни. Еще меньше он мог бы вывести отсюда поэзию Пушкина.

И, однако, все это совершилось воочию.

Современное пушкиноведение, такое кропотливое, усидчивое, добросовестное, сплошь да рядом такое мелочное, словно орудующее микроскопом, подчас столь неконгениальное Пушкину, столь далекое от уразумения истинного Пушкинского духа, только в том случае не является довольно праздным историческим любопытством, вышедшим из своих законных пределов, если за ним стоит темный, безошибочный инстинкт, подсказывающий самому скромному рядовому исследователю, всецело поглощенному вариантами текста или проверкой хронологических дат, что Пушкин не только свидетель прошлого, но и провозвестник будущего.

Полагаю, что так оно и есть на самом деле.

Работа, предлагаемая ныне вниманию читателей, была первоначально задумана с целью иллюстрировать и обосновать мысли, набросанные в предисловии. Личные обстоятельства не позволили осуществить этот замысел до конца. Вместо большой книги, посвященной жизни, творчеству и мировоззрению Пушкина, были написаны только «главы из биографии», и притом главы сравнительно второстепенные. Самостоятельной разработки источников производить почти не пришлось, и заняться подлинными рукописями Пушкина

я также не имел возможности, хотя отлично сознавал всю плодотворность этого метода, особенно в спорных и сомнительных случаях. Я имел дело только с печатным материалом и во многом вынужден был полагаться на выводы и обобщения пушкинианцев-специалистов. Поэтому биографические факты, приведенные в книге, за ничтожными изъятиями, не имеют характера новизны. Я лишь стремился представить эти факты в надлежащей соразмерности и естественной связи и изобразить éducation sentimentale Пушкина, интимную историю его сердца так, как я понимаю ее.

Я считал неподобающим затушевывать, обходить молчанием или смягчать что-либо. Мое изложение не апология, но и не обвинительный акт. У Пушкина, конечно, были свои слабости и даже пороки, особенно в той области, которая явилась предметом моего рассмотрения. Но он достаточно велик, чтобы отвечать за себя и не нуждаться в адвокатах. Что же касается до укоризн и обвинений, вроде хотя бы тех, которые позволил себе Владимир Соловьев в нашумевшей в свое время статье о Пушкине, то они были бы здесь еще более неуместны. Всякие нападки на Пушкина с точки зрения общепринятых ныне (хотя и редко соблюдаемых) понятий о морали неизбежно имеют привкус фарисейства, чего я стремился избежать во что бы то ни стало.

В заключение считаю долгом выразить душевную признательность Пушкинскому Дому в лице его руководителей Нестора Александровича Котляревского и Бориса Львовича Модзалевского, давших мне возможность пользоваться нужными пособиями и украсить портретами эту книгу.

Искренно благодарю сотрудниц Дома Евлалию Павловну Казанович и Елену Памфиловну Населенко за их всегдашнее любезное содействие.

П. Г. 23 января 1923.

Глава первая

I

От природы Пушкин был человек вполне здоровый, с огромным запасом энергии и жизненных сил. «Великолепная натура, — сказал знаменитый хирург Арендт, пользовавший смертельно раненого поэта, — mens sana in corpore sano». Единственным признаком, говорившим о некотором нарушении идеального физиологического равновесия в этой «великолепной натуре» была необыкновенно быстрая чувственная и нервная возбудимость.

Лицом он был очень некрасив. Большинство дошедших до нас портретов, в том числе наиболее распространенные в копиях и репродукциях портреты Кипренского и Тропинина, льстят ему. «Лицом настоящая обезьяна», — характеризовал он себя в юношеском французском стихотворении Mon portraît. Кличка «Обезьяна» долго преследовала его в свете. По-видимому, поэт сильно страдал временами от сознания собственной уродливости. В послании к известному красавцу, лейб-улану Ф. Ф. Юрьеву, он утешает себя:

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний.

Бешенство желаний, несомненно, было ему хорошо знакомо. Но что касается до неведения мук любви, то он сказал умышленную неправду, которую сам постоянно опровергал всеми возможными способами.

О повышенной эротической чуткости и отзывчивости Пушкина единогласно говорят все отзывы современников.

«Пушкин любил приносить жертвы Бахусу и Венере, — пишет лицейский товарищ поэта С. В. Комовский, — волочился

за хорошенькими актрисами гр. Толстого, причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской природы. Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна».

Комовский, как видно даже из приведенного отрывка, был человек отнюдь не умный и не глубокий. Недаром его рассказ возмутил другого старого лицеиста М. Л. Яковлева. Послушаем поэтому свидетеля более проницательного, хотя по складу своего характера, еще более далекого от Пушкина:

«В Лицее он превосходил всех чувственностью, а после, в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившее его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями общественными и семейными — это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал… Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата».

Автор этих строк — холодный, чопорный бюрократ, барон (впоследствии граф) М. А. Корф — знал родителей Пушкина, учился с ним в одном классе, постоянно встречал его в различных петербургских гостиных и некоторое время снимал квартиру в том доме, где жил недавно обвенчавшийся и мечтавший остепениться поэт. Но, конечно, в нравственном смысле это были два антипода. Во время житья под одним кровом между ними случались частые столкновения, дошедшие однажды до того, что необузданный в гневе Пушкин собственноручно прибил грубияна-лакея, служившего у Корфа, и порывался вызвать на дуэль самого благовоспитанного барона. Отголоски глухого, застарелого раздражения чувствуются в рассказе Корфа. Показания лиц, душевно близких к поэту, разумеется, гораздо мягче и выдвигают на первый план более симпатичные черты.

«Пушкин был собою дурен, — сообщает брат поэта Лев Сергеевич, — но лицо его было выразительно и одушевленно, ростом он был мал (в нем было с небольшим пять вершков), но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должен заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-нибудь близком его душе. Тогда он являлся поэтом — и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда ни касался до сего предмета».

Алексей Николаевич Вульф — приятель, собутыльник и сосед по имению — дополняет в своем дневнике этот беглый портрет: «Пушкин говорит очень хорошо; пылкий, проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же

самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро: женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного».

А вот воспоминания женщины, тем более драгоценные, что из всей многоликой толпы красавиц, которым Пушкин посвящал свои помыслы, только две удосужились описать свои встречи и беседы с ним. Но воспоминания А. О. Смирновой, переделанные к тому же ее дочерью, многословны, хаотичны, тенденциозны и неправдивы. Напротив, небольшие по объему мемуары Анны Петровны Керн, хотя и составленные много лет спустя после кончины Пушкина, поражают своею свежестью и живой убедительностью.

«Трудно было с ним вдруг сблизиться, — рассказывает А. П. Керн, — он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен; и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту… Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-либо приятно волновало его. Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи».

И далее: «Живо воспринимая добро, Пушкин не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное глубокое чувство, им внушенное; сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их, и в этом был сыном своего века.

Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, за-

ключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени».

Так запечатлелся облик Пушкина в памяти этих людей, столь несхожих между собою. Но как ни разнообразны в смысле исходной точки зрения приведенные нами рассказы знакомых поэта, кое-что общее можно извлечь из них. Не подлежит спору, что в эротическом отношении Пушкин был одарен значительно выше среднего человеческого уровня. Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к внешней женской красоте всем бросались в глаза. Но одни видели только низшую, полузвериную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маской фавна. Нужно ли добавлять, что эти последние наблюдатели были гораздо ближе к подлинной правде.

II

При встречах с женщинами Пушкин мгновенно загорался и, порою, так же мгновенно погасал. Осенью 1826 г., только что прощенный Николаем I, он из своего Михайловского уединения попадает в Москву, кипящую шумным весельем по случаю коронационных торжеств. Здесь на пути его оказалась хрупкая, миниатюрная красавица С. Ф. Пушкина, его дальняя родственница. Он был ей представлен, тут же влюбился и немедленно задумал сделать предложение. Всего несколько дней понадобилось ему, чтобы решиться на такой важный шаг.

«Боже мой, как она красива, — писал он двоюродному брату своей предполагаемой невесты В. П. Зубкову, избранному им в поверенные, — и до чего нелепо было мое поведение с нею. Мерзкий этот Панин! Знаком два года, а свататься собирается на Фоминой неделе, а я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь».

Так же стремительно и бурно налетела на него любовь к Н. Н. Гончаровой, которая впоследствии стала его женой

и которая в момент знакомства имела всего 16 лет от роду. Не теряя ни минуты, он по своему обыкновению, несколько странному для поэта, просил руки Натальи Николаевны при посредстве свата, каковым на сей раз оказался известный бретер и авантюрист с сомнительной репутацией Ф. И. Толстой, прозванный «Американцем».

Получив холодный и уклончивый ответ от родителей невесты, Пушкин умчался на Кавказ к армии Паскевича в полном отчаянии. А ему шел тогда уже тридцатый год, он изведал всевозможные житейские бури, и его любовный опыт был весьма обширен. «Натали — моя сто тринадцатая любовь», — признавался он жене друга, княгине В. Ф. Вяземской. В другом месте он вспоминает: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал. Все они изрядно надо мной посмеялись; все за одним единственным исключением, кокетничали со мной».

Совершенно очевидно, что нельзя серьезно любить сто тринадцать женщин. Большинство увлечений Пушкина носит характер мимолетности. Однако не следует делать отсюда тот вывод, будто поэт вообще не был способен к глубокому и прочному чувству. В этой чудесной биографии мы имеем возможность наблюдать самые разнообразные типы любви: от случайного каприза до напряженной, мучительной страсти, от грубой телесной похоти до воздушной, романтической грезы, которая довлеет сама себе и остается неизвестной даже любимому предмету.

Должно, впрочем, заметить, что случаи этого последнего рода довольно редки. Пушкин очень любил легкий флирт, ни к чему не обязывающий обе стороны. Но когда ему не удавалось удержать нарождающееся чувство в должных границах, когда любовь приходила не на шутку, она обычно протекала, как тяжелая болезнь, сопровождаемая бурными пароксизмами. Ему нужно было физическое обладание, и он подчас готов был буквально сойти с ума в тех случаях, когда женщина оставалась недоступной.

Одна мелкая, но характерная черта показывает, как сильно плотское начало было выражено в любовных порывах Пушкина: образ женской ноги всего ярче зажигал его эротическую фантазию. Это общеизвестно. Многочисленные памятники этого своеобразного пристрастия сохранились в его стихах, о том же говорят весьма выразительные рисунки, набросанные в черновых рукописях. Ученый-пушкиниaнец наших дней, профессор Сумцов, мог даже написать специальную работу о женской ножке в поэзии Пушкина. Люди физиологически страстные и наделенные к тому же живым, пластическим воображением бывают по большей части очень ревнивы. Исключительно ревнивым нравом обладал и Пушкин. Если ему часто приходилось переживать любовь как болезнь, то ревность являлась злокачественным осложнением этой болезни. Среди лучших лирических произведений его имеются стихи, начинающиеся словами: «Ненастный день потух» и т. д. Можно только поражаться, какой огромный опыт по части ревности, сплошь да рядом неосновательной и немотивированной, нужно было иметь, чтобы написать их:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует,
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна… ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных
……………………………………………………
……………………………………………………
Никто ее любви небесной не достоин.
Неправда ль: ты одна… ты плачешь… Я спокоен.
……………………………………………………
Но если………………………………………….

Красноречивое многоточие, заканчивающее последнюю строку, стоит многих страниц.

Способность испытывать ревнивые муки по самому ничтожному поводу или даже вовсе без повода — нисколько не ослабела с годами. Напротив, она даже возросла после того, как Пушкин женился на Гончаровой. Сестра поэта, Ольга Сергеевна Павлищева, в письме к мужу так изображала терзания своего гениального брата в начале тридцатых годов:

«Брат говорил мне, что иногда чувствует себя самым несчастным существом — существом близким к сумасшествию, когда видит свою жену разговаривающей и танцующей на балах с красивыми молодыми людьми; уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови к голове, и тогда на него находит мысль, не дающая ему покоя, что жена его, оставаясь ему верной, может изменять ему мысленно… Александр мне сказал о возможности не фактического предпочтения его, которое по благочестию и благородству Наташи предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения мысленного других перед ним».

Подобные свидетельства при желании можно было бы значительно умножить. Вся история семейной жизни Пушкина есть в сущности длинная агония вечно возбужденной и мнительной ревности, которая под конец и привела к кровавому исходу.

Когда привычка к ревности укореняется в нравственном мире человека, то это влечет за собой — в виде естественного следствия — дурное и пренебрежительное мнение о женщинах вообще. Словно в отместку за испытанные муки, ревнивец бывает склонен представлять себе женщину существом низшего порядка, лживым, злым, коварным и душевно грубым. Мы видели, как А. П. Керн упрекала Пушкина за его насмешливо-пренебрежительное отношение к женщинам и находила, что в этом виноваты господствующие понятия эпохи. Она была права лишь отчасти. Зачатки мизогинии коренились в самой натуре Пушкина. Он высказывался в этом

смысле напрямик, без всяких околичностей. Автор стольких рифмованных комплиментов и стольких страстных элегий готов был в припадке откровенности взять обратно свои слова.

Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Нечисто в них воображенье
Не понимает нас оно,
И, признак Бога, вдохновенье
Для них и чуждо, и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Поэзия была для Пушкина главное в жизни, и именно об этом главном он избегал говорить с женщинами. В эстетическую чуткость их он совершенно не верил. В одной черновой заметке он признается с горечью: «Часто удивляли меня дамы, впрочем, очень милые, тупостью их понятия и нечистотой воображения». О том же читаем в печатной статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827 г.): «Жалуются на равнодушие русских женщин к поэзии, полагая тому причиной незнание отечественного языка; но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Боратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью, самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи, самые естественные, расстраивают меру, уничтожают

рифму. Вслушайтесь в их суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… исключения редки».

Эти сухие, брюзгливые рассуждения шли от ума и были бессильны обуздать сердце, фантазию и темперамент. Пушкин как нельзя лучше понимал всю никчемность советов благоразумия в сердечных делах.

«То, что я мог бы сказать относительно женщин, — писал по-французски двадцатитрехлетний поэт своему младшему брату из Кишинева, — будет для вас совершенно бесполезно. Я лишь замечу, что чем меньше любят женщину, тем скорее могут надеяться обладать ею, но эта забава достойна старой обезьяны XVIII века».

Взгляды Пушкина на семейную жизнь и на обязанности замужней женщины очень старомодны и, в сущности, не далеко ушли от Домостроя протопопа Сильвестра. Жена должна слушаться мужа и следовать его указаниям как в важных вопросах, так и в мелочах. Безукоризненная верность супругу, даже старому и нелюбимому, представляет собою наилучшее украшение молодой и прекрасной женщины. Таков идеал, раскрытый в «Онегине» и в «Дубровском» и отлично ужившийся с показным скептическим цинизмом. Пушкин, на глазах которого началась литературная деятельность Белинского, даже не подозревал, что на свете может существовать женский вопрос. В его рассуждениях о женщинах проглядывает что-то восточное. Не случайно он обмолвился однажды:

Умна восточная система,
И прав обычай стариков:
Оне родились для гарема
Иль для неволи теремов.

Действительно, только гарем, охраняемый стражей из вооруженных евнухов, мог явиться достаточно надежной гарантией женской верности для этого мученика ревнивого воображения.

III

Теоретическое пренебрежение к женщине и к любви на практике ведет с необходимостью к половой распущенности. Покорный своей страстной природе, Пушкин принес много жертв Афродите Общенародной. В этом нет ничего неожиданного, особенно если вспомнить нравы и привычки среды, к которой он принадлежал. Гораздо удивительнее, что ему ни разу и ни при каких обстоятельствах не пришло в голову усомниться в естественности и законности предоставленного мужчине права покупать женское тело за деньги. Без малого за сто лет до Пушкина Жан-Жак Руссо, посетив одну из знаменитых венецианских куртизанок, залился слезами при мысли, что существо, так щедро одаренное богом и природой, вынуждено торговать собой. Об этом рассказано в его «Исповеди», и с точки зрения господствовавших в том веке понятий это казалось столь дико и странно, что Вольтер считал названный эпизод наилучшим доказательством сумасшествия Руссо. Пушкин, рожденный в предпоследний год XVIII столетия, во многих отношениях остался верным духовным сыном Вольтера. Весьма вероятно, что он не смог бы понять и русских продолжателей Руссо — Достоевского с его Соней Мармеладовой и Толстого с Катюшей Масловой. О публичных домах он говорит в веселом, беззаботном тоне, именуя эти учреждения наряду с ресторанами, театрами и даже… с книжными магазинами. Ф. Ф. Вигелю, былому соратнику по Арзамасу, он сообщает с сокрушением:

Но в Кишиневе, видишь сам,
Ты не найдешь ни милых дам,
Ни сводни, ни книгопродавца…

В 1826 г. он пишет, задыхаясь от скуки в своем деревенском затворе: «Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы, парижские театры и б…, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство».

Очень известная в свое время Софья Астафьевна, содержательница фешенебельного веселого дома, излюбленного гвардейской молодежью Петербурга, хорошо знала Пушкина. Он появлялся под ее гостеприимным кровом и в первые годы своего петербургского житья, и много позднее, накануне женитьбы и даже после нее. «Мы вели жизнь довольно беспорядочную, — говорится в черновом наброске, относящемся, может быть, к первоначальной редакции «Пиковой Дамы», — ездили к Софье Астафьевне без нужды побесить бедную старуху притворной разборчивостью». Это черта автобиографическая. Один из участников этих проказ много лет спустя вспоминал о них, невольно, надо полагать, прикрашая истину:

«Они, бывало, заходили к наипочтеннейшей Софье Астафьевне провести остаток ночи с ее компаньонками. Александр Сергеевич, бывало, выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом, идти в услужение, потом даст деньги на выход… Всего лучше, что благовоспитанная Софья Астафьевна жаловалась на поэта полиции как на безнравственного человека, развращающего ее овечек».

Можно думать, что с приютом Софьи Астафьевны связана жанровая картинка в стихах, найденная среди черновиков Пушкина и замечательная невозмутимо спокойным, эпическим тоном, в котором ведется повествование:

Сводня грустно за столом
Карты разлагает.
Смотрят барышни кругом,
Сводня им гадает:
«Три девятки, туз червей
И король бубновый. —
Спор, досада от речей
И при том обновы…

А по картам — ждать гостей
Надобно сегодня…»
Вдруг стучатся у дверей;
Барышни и сводня
Встали, отодвинув стол;
Все толкнули ц…
Шепчут: «Катя, кто пришел,
Посмотри хоть в щелку».
— «Что? Хороший человек;
Сводня с ним знакома;
Он с б… целый век,
Он у них как дома».
Б… в кухню (руки мыть)
Все бегом, прыжками,
Обуваться, букли взбить,
Прыскаться духами.

Гостя сводня между тем
Ласково встречает,
Просит… его совсем;
Он же вопрошает:
«Что, как торг идет у вас,
Выручки довольно?»
Сводня за щеку взялась
И вздохнула больно.

«Верите ль, с Христова дня
Ровно до субботы
Все девчонки у меня
Были без работы.
Хоть и худо было мне,
Но такого горя
Не видала я во сне,
Хоть бежать за море.

Четверых гостей, гляжу,
Бог мне посылает.
Я б… им вывожу,
Всякий выбирает.

… они всю ночь,
Кончили, и что же?
Не платя, пошли все прочь,
Господи, мой боже!»

Гость ей: «Право, мне вас жаль;
Здравствуй, друг Анета!
Ах, Луиза! Что за шаль!
Подойди, Жанета,
А Луиза — поцелуй!
Выбрать, так обидишь.
Так на вас и…
Только вас увидишь!»

– «Что же, сводня говорит,
……………………………
……………………ей в ответ:
— «Нет, не беспокойтесь,
Мне охоты что-то нет.
Девушки, не бойтесь!»

Он ушел. Все смолкло вдруг,
Сводня приуныла,
Дремлют девушки вокруг,
Свечка вся оплыла.
Сводня карты вновь берет,
Молча вновь гадает,
Но никто, никто нейдет…
Сводня засыпает.

Поистине целая бездна отделяет нас от «Записок из подполья» или от тех глав «Преступления и наказания», где Раскольников беседует с Соней.

После ссылки и до самой кончины Пушкин находился под бдительным надзором жандармов и полиции. Но на его галантные похождения начальство глядело сквозь пальцы. «Laissez le courrir le monde, chercher des filles», — советовал генералу Бенкендорфу шпион, вертевшийся в большом свете. И, по-видимому, этот совет был принят к руководству.

Далеко не всегда высшая полицейская власть являлась столь снисходительной. Так, в 1829 г. с одним из ближайших друзей Пушкина князем П. А. Вяземским стряслась очень неприятная история: тайные агенты донесли, куда следует, что князь — человек женатый и солидный — провел с Пушкиным ночь в веселом доме. Пушкина никто не думал беспокоить по этому поводу. Но князь по возвращении в Москву получил от московского генерал-губернатора бумагу, в которой говорилось, что правительству известно его развратное поведение и что в случае, если он будет вовлекать в пороки молодежь, против него будут приняты меры строгости. Вяземский страшно вознегодовал и собирался даже уехать навсегда за границу. Пушкин, напротив, отнесся к этому происшествию очень легкомысленно: «Сделай милость, забудь выражение "развратное его поведение". Оно просто ничего не значит. Жуковский со смехом говорил, будто бы говорят, что ты пьяный был у… и утверждает, что наша поездка в неблагопристойную Коломну к бабочке — Филимонову подала повод к этому упреку. Филимонов, конечно, борделен, а его бабочка, конечно, рублевая, паршивая Варюшка, в которую и жаль, и гадко что-нибудь нашего всунуть. Впрочем, если бы ты вошел и в неметафорический бордель, все ж не беда.

Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит…»

Не следует, однако, слишком доверять этой показной фривольности: вольтерианские стишки и достойные Мефистофеля циничные рассуждения часто бывали только щитом, за которым Пушкин скрывал свои истинные мысли и чувства. Многое можно познать лишь путем сравнения. И достаточно сравнить Пушкина хотя бы с его приятелем А. Н. Вульфом, чтобы сразу заметить кардинальную разницу.

Вульф, младший Пушкина несколькими годами, находился под сильным его влиянием. Петербургский Вальмон учился

у псковского ловеласа. Вульф был холодный сладострастник, хитрый и расчетливый волокита, способный с успехом вести несколько амурных интриг за раз. Изданный несколько лет тому назад подробный дневник его, полный откровенных признаний, содержит любопытный материал для характеристики нравственных понятий, господствовавших среди русского дворянства двадцатых годов. Нужно сопоставить этот дневник с перепиской и самыми вольными стихами Пушкина, чтобы почувствовать, какое огромное расстояние разделяет их авторов. Даже в моральном отношении поэт резко возвышался над окружающей средой. Нет нужды, что порою он бывал не лучше того же Вульфа. Зато в других случаях, когда было затронуто его сердце или загоралось воображение, его голос тотчас же обретал новые интонации. И он забывал без остатка свою циническую мудрость, свое сластолюбивое эпикурейство и свою дальновидную стратегию хладнокровного соблазнителя.

Глава вторая

I

Пушкин впервые испытал любовь еще совсем ребенком. В черновой программе автобиографических записок значится: «Первые впечатления. Юсупов сад — землетрясение — няня. Отъезд матери в деревню. Первые неприятности. Гувернантки. (Смерть Николая. Ранняя любовь). Рождение Льва. Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор. — Русло. — Кат. П. и Анна Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению. — Меня везут в ПБ. — Иезуиты. Тургенев. — Лицей».

В той же программе, среди перечисления событий лицейского периода, читаем: «Первая любовь». Итак, сам Пушкин разделял эти два факта, очевидно не считая своей «ранней» любви за настоящую. Действительно, ему могло быть тогда не более 6–9 лет.

Об этом еще совсем ребяческом увлечении Пушкина не сохранилось никаких биографических данных, если не считать вышеприведенной записи в программе. Но в 1815 г. Пушкин в стихотворном «Послании к Юдину» припомнил этот полузабытый эпизод:

Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу — взоров свет,
Друг сердца, милая ***?
То на конце аллеи темной
Вечерней тихою порой,
Одну, в задумчивости томной
Тебя я вижу пред собой;
Твой шалью стан непокровенный,
Твой взор на груди потупленный…
Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склонясь[1],

---

[1] Юный стихотворец изображает себя в виде воина, вернувшегося с «поля битвы и чести».

Стоишь под ивою густою,
И ветер сумраков, резвясь,
На снежну грудь прохладой дует,
Играет локоном власов
И ногу стройную рисует
Сквозь белоснежный твой покров.

Биографы не могли доискаться, кто скрывался под тремя звездочками, поставленными в рукописи самим поэтом. С наибольшей долей вероятия Н. О. Лернер предполагает, что героиней детского романа Пушкина была Софья Николаевна Сушкова. «Маленький Пушкин, — рассказывает П. И. Бартенев, — часто бывал у Трубецких (кн. Ивана Дмитриевича) и у Сушковых (Николая Михайловича, тоже литератора), а по четвергам его возили на знаменитые детские балы танцмейстера Иогеля».

Софья Сушкова была на год моложе Пушкина. Относительно дальнейшей ее судьбы известно только, что она вышла замуж за А. А. Панчулидзева, бывшего губернатором в Пензе, и скончалась в 1843 г.

В «Послании к Юдину» обращает на себя внимание чрезвычайная конкретность и вместе с тем некоторая нескромность изображаемых сцен. Эту последнюю приходится отнести всецело на счет поэтического вымысла. Само собою разумеется, что никаких тайных свиданий не могла назначать Пушкину юная особа, имевшая от роду всего восемь лет и находившаяся, надо полагать, на попечении нянек и гувернанток. Скороспелый эротизм Пушкина был в данном случае только неизбежной данью тому литературному жанру, на служение которому он отдавал в те годы главные силы своего таланта. Гривуазные французские поэты — Вольтер, Грекур, Грессе, Дора, Лебрэн и Парни — явились для него первыми литературными образцами. Они же, раньше товарищей по Лицею, которых Пушкин вообще сильно обогнал в своем развитии, стали для него учителями в искусстве любить.

На заре эмоциональной и чувственной жизни отрока, в пору первого пробуждения мужских инстинктов, изящная литература всегда играла и всегда будет играть очень заметную роль. «Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман», — меланхолически заметил Пушкин, перефразируя изречение Шатобриана. В те годы, когда Пушкин был еще неопытным юнцом, таким пакостным романом par excellence считались «Опасные связи» Шодерло де Лакло, произведение утонченное и блестящее, последний отравленный цветок XVIII века, классический компендиум любовной науки, которая низводила отношения между мужчиной и женщиной до степени обдуманной и подчас довольно жестокой игры, с льстивым мадригалом в начале и с ядовитой эпиграммой в конце. Пушкин усердно внимал урокам этой науки, но удовлетвориться ею одной не мог и не хотел. К счастью для него, тогдашняя поэзия представляла и другие образчики любви. Она описывала любовь троякого рода: беззаботное и веселое наслаждение жизнью со всеми ее чувственными радостями; грустное уныние, в котором была скрыта своя особая сладость; наконец, мучительную и жестокую страсть, неотвратимую, как веление рока. Этим трем формам любви соответствовали три направления в лирике тех времен: совершенно условная пасторальная и мифологическая поэзия псевдоклассицизма, меланхолическая эротика сентиментализма и первые опыты в чисто романтическом роде. Эти направления не во всех случаях были резко разграничены. Мотивы разных порядков могли встречаться у одного и того же поэта, и Пушкину, который по складу своего характера и дарования всегда являлся великим эклектиком, это было на руку.

Беззаботному наслаждению он с избытком воздал должное — в стихах еще раньше, чем на деле. Среди так называемых лицейских стихотворений в ряду салонных мадригалов, эпиграмм, торжественных од и тяжелых подражаний Оссиану то и дело попадаются искрящиеся неподдельным весельем застольные песни, вольные мифологические сценки

и нескромные пастушеские идиллии. Жизненная мудрость говорит устами сатира:

Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
Миг блаженства век лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви.
Так поди ж теперь с похмелья
С Купидоном помирись,
Позабудь его обиды
И в объятиях Дориды
Снова счастьем насладись.

В старших классах Лицея, когда надзор ослабел и воспитанники почти беспрепятственно получали разрешения отлучаться в город, где водили компанию с царскосельскими гусарами, Пушкин имел возможность впервые познакомиться с доморощенными Венерами, Лаисами, Делиями, Хлоями и прочими носительницами мифологических и пасторальных псевдонимов. Но, несмотря на свою преждевременную зрелость, он в сущности был еще мальчиком. Воротясь в Лицей после гусарской пирушки, он сентиментально вздыхает у себя в комнате:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый день в увядшем сердце множит
Все горести несчастливой любви,
И тяжкое безумие тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой.
Я слезы лью — мне слезы утешенье:
Моя душа, объятая тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О, жизни сон! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье!
Мне дорого любви моей мученье.
Пускай умру, но пусть умру — любя!

Но эти настроения были очень непрочны. Сентиментализм уже выходил из моды. Проклятие психологической фальши лежало на нем. К тому же Пушкин был наделен слишком огненным темпераментом, чтобы долгое время удовлетворяться тепло-хладными восторгами уныния. Его любимым поэтом в эту эпоху являлся Парни. А Парни не был простым галантным стихотворцем вроде Дора или Лебрена. В его стихах, несмотря на неизбежные псевдоклассические декорации и аксессуары, много искренности и простоты. Любовь, которую он воспевает, — настоящая любовь, а не литературная гримаса. «Его первая элегия, “Enfin, ma chère Eleonore”, прелестна, — говорит Сент-Бев, — это abc влюбленных. Кто читал ее, тот запомнил, а из тех, кто знает ее наизусть, никто не может забыть».

Азбука любви была в руках у Пушкина. Он быстро затвердил все буквы этого алфавита и даже научился составлять из них новые сочетания. Но еще оставалось применить теорию к жизни. Подобно большинству богато одаренных натур, Пушкин «любил любовь» гораздо раньше, чем в его душе зародилось подлинное чувство к какой-нибудь определенной женщине. Впоследствии, в вариантах 8-й главы «Евгения Онегина», он припомнил

… те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь.
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал.

Нам теперь предстоит окинуть беглым взглядом галерею женских портретов, неразлучных с биографией Пушкина. Он

сам составил для нас краткий, но весьма полезный путеводитель по этой галерее.

II

Зимою 1829–30 года, проживая в Москве после поездки в Эрзерум, Пушкин часто бывал в гостеприимном, истинно московском доме Ушаковых. Центром общества здесь служили две взрослых дочери — Екатерина и Елизавета Николаевны. Поэт ухаживал за ними обеими, и особенно за Екатериной, но слегка, скорее в виде шутки. Сердце его было прочно занято в это время. Он возобновил попытки добиться руки Н. Н. Гончаровой и на сей раз имел больше надежды на успех.

Важный переворот подготовлялся в его жизни. Надо полагать, в эти месяцы он часто возвращался мыслью к своему романическому прошлому. В одну из таких минут он набросал в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой длинный список женщин, которых любил в былые годы. Этот перечень в специальной пушкинской литературе получил название Донжуанского списка.

Собственно говоря, это не один список, а целых два. В первом по большей части мы находим имена женщин, внушивших наиболее серьезные чувства поэту. На последнем месте здесь поставлена Наталья — его будущая жена.

Во второй части перечня упомянуты героини более легких и поверхностных увлечений.

Вот первая часть Донжуанского списка:

Наталья I
Катерина I
Катерина II
NN
Кн. Авдотия
Настасья
Катерина III
Аглая

Калипсо
Пулхерия
Амалия
Элиза
Евпраксея
Катерина IV
Анна
Наталья

А вот вторая половина:

Мария
Анна
Софья
Александра
Варвара
Вера
Анна
Анна
Анна
Варвара
Елизавета
Надежда
Аграфена
Любовь
Ольга
Евгения
Александра
Елена

Не следует забывать, что перед нами только салонная шутка. Донжуанский список в обеих частях своих далеко не полон. Кроме того, разделение увлечений на более серьезные и на более легкие не всегда выдерживается. Вторая часть вообще дает много поводов к недоумениям, и некоторые имена, здесь записанные, остаются для нас загадочными. Не то в первой части: почти против каждого имени современный исследователь имеет возможность поставить фамилию, дав при этом более или менее подробную характеристику ее

носительницы. Поэтому Донжуанский список, при всех пробелах своих, является все же незаменимым пособием для составления подробной летописи о сердечной жизни поэта.

III

Донжуанский список, открывается именем Натальи. Среди биографов нет полного единогласия относительно того, которую из трех Наталий, известных Пушкину в Царском Селе, должно связывать с этою записью.

Наташей звалась миловидная горничная фрейлины Валуевой, привлекавшая усиленное внимание подрастающих лицеистов. Из-за нее Пушкин чуть было не нажил серьезных неприятностей. Однажды, около второй половины 1816 года, ему попалась навстречу в темном коридоре дворца какая-то женская фигура. Уверенный, что имеет дело с хорошенькой горничной, он довольно бесцеремонно обнял ее и, на беду свою, слишком поздно заметил, что перед ним находится сердитая старая дева, фрейлина, княжна В. М. Волконская. Она пожаловалась, и дело дошло до государя. Но директор Лицея выпросил прощение виновному.

Н. О. Лернер, ссылаясь на указание гр. М. А. Корфа, хочет видеть в Наталье Донжуанского списка графиню Наталью Викторовну Кочубей, дочь графа Виктора Павловича Кочубея, жившую в Царском Селе в 1817 году и посещавшую Лицей. Но нам кажется, что недоумение всего легче разрешается стихотворным признанием самого поэта:

Из Катонов я в отставку,
И теперь я — селадон
Миловидной жрицы Тальи,
Видел прелести Натальи
И уж в сердце Купидон!
Так, Наталья, признаюся,
Я тобою полонен;
В первый раз еще — стыжуся —
В женски прелести влюблен.

Итак, первою любовью Пушкина была «жрица Тальи» т. е. актриса. Она принадлежала к составу крепостной труппы графа В. В. Толстого и подвизалась в его домашнем театре. По-видимому, она была очень красива, но совершенно бездарна, что не укрылось и от ее нового поклонника. «Ты не наследница Клероны[2], — писал, обращаясь к ней, Пушкин, — не для тебя свои законы владелец Пинда начертал». Послания «К Наталье» и «К молодой актрисе» относятся к 1814 году, каковым годом, стало быть, и можно датировать первую (в отличие от «ранней») любовь Пушкина.

Эта мимолетная, совершенно не оформившаяся страстишка, возникшая в зрительном зале и, можно думать, не успевшая привести Пушкина даже за кулисы, вряд ли продолжалась слишком долго. Бойкий, веселый ритм куплетов, посвященных Наталье, как нельзя лучше отвечает характеру чувства, которое она внушила поэту. В сущности, любовь эта была еще настоящим мальчишеством. Только в следующем году сердце Пушкина было серьезно затронуто. Теперь предметом его мечтаний явилась Катерина I Донжуанского списка, т. е. Екатерина Павловна Бакунина, сестра товарища по Лицею. 29 ноября 1815 года он записал у себя в дневнике:

«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался.
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень.

Я счастлив был!.. Нет, я вчера не был счастлив: поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! Наконец, я потерял надежду; вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице — сладкая минута!

---

[2] Клерон — знаменитая французская актриса XVIII столетия.

Он пел любовь, но был печален глас:
Увы! Он знал любви одну лишь муку.
(Жуковский)

Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной!

Но я не видел ее 18 часов — ах!

Какое положение, какая мука! Но я был счастлив пять минут».

Е. П. Бакуниной увлекались и другие лицеисты, в том числе И. И. Пущин, будущий декабрист. Но соперничество не послужило причиной охлаждения между друзьями. Пушкин томился любовью к Бакуниной всю зиму, а также весну и большую часть лета 1816 года. За это время из-под пера его вышел ряд элегий, которые носят печать глубокой меланхолии. Никаких определенных выводов об отношениях, существовавших между поэтом и любимой девушкой, нельзя сделать на основании этих стихов.

Элегический трафарет заслоняет живые черты действительности. Однако более чем вероятно, что весь этот типично-юношеский роман повлек за собою лишь несколько мимолетных встреч на крыльце или в парке. Осенью Бакунины переехали на житье в Петербург, и Пушкин, если верить его стихам, долгое время был совершенно безутешен. Но в жизни, разумеется, дело обстояло далеко не столь трагично. Молодость брала свое, каждый день приносил новые впечатления, начинались первые литературные успехи и даже настоящие триумфы, каким было публичное чтение на экзамене в присутствии стареющего Державина. Сердечная рана затянулась, и освободившееся после Бакуниной место заняла хорошенькая вдовушка Мария Смит, пропущенная в первой части Донжуанского списка.

Относительно этой молодой женщины нам известно очень немногое. Ее девичья фамилия была Шарон-Лароз, и она приходилась дальней родственницей директору Лицея

Е. А. Энгельгардту. Пушкин мог встречаться с нею на квартире у своего директора, часто приглашавшего лицеистов к себе на семейные вечера. Здесь занимались музыкой, разыгрывали шарады и выдумывали другие подобные развлечения. Мария Смит считалась одной из наиболее интересных дам этого кружка. Пушкин обратил на нее внимание еще тогда, когда его помыслы были заняты Бакуниной. Позднее он, по-видимому, влюбился в нее, но не сильно и ненадолго. Приближался день выпуска из Лицея. Питомцев его ожидал петербургский большой свет со всеми его приманками. Перед лицом такой перспективы все царскосельские знакомства должны были казаться сравнительно малопривлекательными.

Чувством к Марии Смит внушены кой-какие стихотворения 1816–1817 годов. Она появляется в них под именами Лилы и Лиды. Меланхолии нет и в помине в этих по большей части шутливых и не совсем пристойных посланиях. Пушкин описывает свою любовь, сначала неразделенную и отвергнутую, а потом достигшую всего, чего только можно желать; говорит о таинственных ночных свиданиях и о страхе красивой вдовы, которая, принимая юного любовника, боится загробной мести мертвого мужа. В настоящее время нет никакой возможности установить, какие из этих подробностей взяты с натуры и какие зародились исключительно в фантазии поэта. Никогда впоследствии Пушкин не вспоминал о Марии Смит, и, вероятно, эта небольшая лицейская интрижка совершенно изгладилась из его памяти.

IV

Летом 1817 года Пушкин окончил Лицей. На короткое время он съездил погостить в деревню к родителям, а затем зачислился на службу в Коллегию иностранных дел и прибыл для постоянного жительства в Петербург, куда уже давно нетерпеливые мечты влекли его. Он с головой погрузился в водоворот столичных развлечений, щедро вознаграждая себя за скуку, испытанную в школе. Вся его жизнь до 1820 года

кажется пронизанной каким-то вихрем. Он отдыхает и предается серьезному литературному творчеству, только когда бывает болен.

Князь П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, которые постоянно переписывались между собой и аккуратно осведомляли друг друга о Сверчке — самом младшем и самом многообещающем из поэтов дружеского литературного общества «Арзамас», сохранили нам немало любопытных штрихов, касающихся тогдашнего время препровождения Пушкина.

«Сверчок прыгает по бульвару и по б…, — писал Тургенев Вяземскому 18 декабря 1818 года. — Но при всем беспутном образе жизни его он кончает четвертую песнь поэмы. Если бы еще два или три… так и дело в шляпе. Первая… болезнь была и первою кормилицей его поэмы».

«Старое пристало к новому и пришлось ему опять за поэму приниматься, — радуется кн. Вяземский, — Венера пригвоздила его к постели».

«Пушкин простудился, — доносит Тургенев летом 1819 года, — дожидаясь у дверей одной б…, которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своею болезнью. Какая борьба великодушия, любви и разврата!»

В черновых стихотворных набросках своих Пушкин кается в тех же грехах, сопровождаемых теми же неизбежными последствиями:

Я стражду восемь дней
С лекарствами в желудке,
С Меркурием в крови,
С раскаянием в рассудке…

Предание сохранило имена некоторых дам столичного полусвета, около которых увивался Пушкин. Таковы Штейнгель и Ольга Массон. К последней, по предположению одного из комментаторов (П. О. Морозова), относится стихотворение «Ольга, крестница Киприды», написанное, впрочем, значительно позже. Пушкин был совершенно

неутомим в своих похождениях. Ничто не могло остановить его: ни недостаток средств, весьма неохотно отпускавшихся мелочно скупым отцом, ни благие советы солидных друзей, подобных Жуковскому и Н. М. Карамзину, ни постоянная опасность стать «жертвой вредной красоты» и живым подобием вольтеровского Панглоса. О настроении поэта в изображаемую эпоху всего лучше может дать понятие его письмо к П. Б. Мансурову, гвардейскому офицеру и члену общества «Зеленая лампа», в состав которого входил одно время и Пушкин.

Название «Зеленая лампа» присвоил себе кружок, собиравшийся у Н. В. Всеволожского. Недавно П. Е. Щеголев пытался изобразить «Лампу» чем-то вроде разновидности «Союза Благоденствия». Он утверждает, будто политика и литература (особенно запрещенная, противоправительственная) преимущественно интересовали «лампистов» и что лишь позднее, когда деятельность тайных обществ стала предметом судебного расследования, члены кружка сочли нужным представить его в виде политически безвредного собрания великосветских кутил. Должно признаться, что характер пушкинского письма плохо вяжется с подобным предположением.

«27 октября 1819 года.

Насилу упросил я Всеволожского, чтобы он позволил написать тебе несколько строк, любезный Мансуров, чудо-черкес! Здоров ли ты, моя радость; весел ли ты, моя прелесть, — помнишь ли нас, друзей (мужеского полу). Мы не забыли тебя, и в семь часов с $^1/_2$ каждый день вспоминаем тебя в театре рукоплесканиями, вздохами и говорим: свет ты наш Павел! что-то делает он теперь в великом Новгороде? Завидует нам и плачет о Кр… (разумеется, нижним проходом). — Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты, по-прежнему подымаются на нее телескопы и… — но увы… ты не видишь ее, она не видит

тебя. — Оставим элегию, мой друг. Исторически буду говорить тебе о наших — все идет по-прежнему; шампанское, слава богу, здорово, актрисы также — то пьется, а те… — аминь, аминь, так и должно. У Юрьева п… слава богу здоров — у меня открывается маленький; и то хорошо. Всеволожский играет; мел столбом! Деньги сыплются! Сосницкая и князь Шаховский толстеют и глупеют — а я в них не влюблен, однакож ж его вызывал за его дурную комедию, а ее за посредственную игру. Толстой болен — не скажу чем — у меня и так уже много… в моем письме. Зеленая лампа нагорела — кажется, гаснет — а жаль — масло есть (т. е. шампанское нашего друга). Пишешь ли ты, мой собрат — напишешь ли мне, мой холосенькой, поговори мне о себе — о военных поселениях — это все мне нужно — потому, что я люблю тебя и ненавижу деспотизм — прощай лапочка. А. Пушкин».

V

В этом письме много упоминаний о театре, хотя и не совсем почтительных. Театральными интересами была сильно занята гвардейская и великосветская молодежь, среди которой преимущественно вращался Пушкин. Сам он с 1817 года стал «почетным гражданином кулис» подобно своему Онегину. С театром связано и имя Катерины II, встречаемое в Донжуанском списке.

Знаменитая трагическая актриса Екатерина Семеновна Семенова находилась в то время в расцвете своей славы. На юного Пушкина она действовала не столько своей величавой и торжественной красотой, сколько обаянием таланта. По словам Н. И. Гнедича, близкого с Семеновой, поэт «безуспешно приволакивался за нею».

В 1819 году Пушкин задумал писать «Мои замечания о Русском театре», но не довершил этого намерения и неоконченную рукопись подарил Семеновой, которая с чувством удовлетворенной гордости могла прочитать там следующий отзыв о себе.

«Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой — и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновенья — все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины; она одушевила измеренные строки Лобанова; в ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией. В пестрых переводах, составленных общими силами, и которые по несчастью стали нынче слишком обыкновенны, слышали мы одну Семенову, и гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиночке. Семенова не имеет соперницы; пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились; она осталась единодержавною царицей трагической сцены».

Не имея соперниц на сцене, Семенова быстро нашла соперницу в сердце Пушкина. Но кому именно досталась эта роль? Во всяком случае, не княгине Авдотии Донжуанского списка, т. е. не кн. Евдокии Ивановне Голицыной, прозванной в свете La princesse Nocturne. С этой далеко не заурядной женщиной поэт познакомился немедленно по выходе из лицея, и хронологически ей принадлежит первое место в ряду его петербургских увлечений.

Она была почти на 20 лет старше Пушкина, но еще поражала своей красотой и любезностью. Судьба ее довольно необычна. Совсем юной девушкой она, по капризу императора Павла, была выдана замуж за богатого, но уродливого

и очень неумного князя С. М. Голицына, прозванного дурачком. Только переворот 11 марта, устранивший Павла, дал ей способ избавиться от мужа. Она разошлась с ним и начала жить самостоятельно. В ее доме был один из самых известных и посещаемых петербургских салонов. Здесь господствовало воинствующее патриотическое направление с легким оттенком конституционного либерализма. Князь П. А. Вяземский, хорошо знавший Голицыну, рассказывает, что «устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняла чистой и светлой свободы ее… Дом княгини был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников… Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома… По вечерам немногочисленное избранное общество собиралось в этом салоне, хотелось бы сказать — в этой храмине, — тем более что хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее вообще, туалет ее более живописный, чем подчиненный современному образцу — все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу — таинственное, но не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что не просто у нее сходились гости, а и посвященные… В медовые месяцы вступления своего в свет Пушкин был маленько приворожен ею… В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее писанные, — если не страстные, то довольно воодушевленные».

В декабре 1817 года, т. е. как раз в те «медовые месяцы», когда Пушкин впервые появился на сцене большого света, Н. М. Карамзин писал Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви,

только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом».

Месяцев восемь спустя А. И. Тургенев извещал того же Вяземского: «Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал, делает визиты б…, мне и княгине Голицыной, а ввечеру иногда играет в банк».

Несколько времени спустя (в письме от 3 декабря 1818 года) Тургенев опять вспоминает Голицыну: «Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя… Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете, который и для нас был бы очарователен, особливо в некотором отдалении во времени».

Сообщения Вяземского, Карамзина и Тургенева позволяют определить время, когда княгиня Авдотия царила в мыслях Пушкина. Это 1817 и 1818 годы. Стало быть, она или предшествовала Семеновой, или занимала его воображение одновременно с нею. Мы поставили ее на втором месте, лишь следуя порядку, принятому в Донжуанском списке.

Глава третья

I

Для биографов Пушкина вообще было бы гораздо удобнее, если бы хронологическая последовательность была более выдержана в Донжуанском списке. В этом случае, например, вряд ли был бы возможен достопамятный спор П. Е. Щеголева с М. О. Гершензоном об утаенной любви Пушкина и о посвящении «Полтавы». Между именами Катерины II и княгини Авдотии четко стоят две таинственные буквы NN, вызвавшие столько разнообразных догадок. Положением своим они как бы указывают, что особа, скрывающаяся за ними, была знакома с поэтом во время его первого пребывания в Петербурге. Но нельзя не сознаться: довод этот теряет долю убедительности в наших глазах, после того как мы имели случай заметить, что Пушкин — умышленно или невольно — бывал порою беззаботен насчет хронологии.

К спору Щеголева с Гершензоном мы еще вернемся в конце книги. Теперь же постараемся установить факт, который представляется нам почти несомненным на основании анализа пушкинских стихотворений первой половины двадцатых годов.

Один из старых комментаторов поэта, А. И. Незеленов, впервые высказал, а М. О. Гершензон целиком принял и развил ту мысль, что через жизнь Пушкина еще до ссылки прошла какая-то очень большая и серьезная и вместе с тем несчастная, неразделенная любовь. Об этой любви молчат друзья и современники. Ничего не говорит открыто и сам поэт. Но намеки, рассеянные в стихах, достаточно красноречивы.

Гершензон проделал опыт «медленного чтения» пушкинских стихотворений и пришел на основании его к весьма любопытным выводам.

Прежде всего он обращает внимание на то обстоятельство, что Пушкин, удаленный из столицы по распоряжению властей, в поэтических признаниях своих бессознательно

изображает это событие так, как будто он добровольно покинул Петербург и высший свет, бежал из него в поисках душевного спокойствия и свободы:

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья…

Он разорвал какие-то сети, «где бился в плену», где «тайно изнывал, страдалец утомленный»; ссылка была для него благодеянием, удачным выходом из положения, давно ставшего невыносимым. Почему? Он предоставляет нам догадаться об этом и говорит недомолвками, — довольно, впрочем, ясными, — о несчастливой любви.

Любовь эта еще не миновала, хотя предмет ее оставлен на ненавистном севере. Но любовь опустошительным огнем своим как бы выжгла всю душу поэта.

Искатель новых впечатлений, в сущности, уже не способен переживать их. Его психический мир закрыт наглухо. Нравственное омертвение им владеет. На незнакомые картины южной природы он глядит с каким-то странным равнодушием, которому сам впоследствии удивляется.

Поэтическое творчество также стало вдруг ему недоступно. Это обстоятельство имеет чрезвычайную важность для выяснения интересующего нас вопроса.

В первой главе «Онегина» Пушкин говорит:

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

Мы знаем несколько случаев, когда творческая способность временно оставляла Пушкина. Но ни разу упадок творческих сил не был так глубок и резок, как в начале 1820 года. К первым четырем месяцам этого года относятся только две коротенькие элегии, носящие имя Дориды, незаконченный отрывок «Мне бой знаком, люблю я звук мечей», да эпиграммы на Аракчеева. Во время пребывания на Кавказе написан лишь эпилог к «Руслану и Людмиле». Здесь содержится следующее горькое признание:

На скате каменных стремнин
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой, —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений!
Она прошла, пора стихов,
Пора — любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек,
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений…

Немного позднее «прошла любовь — явилась муза» ночью на корабле, в виду Гурзуфа, он набрасывает элегию «Погасло дневное светило». В элегии этой, подводя мысленный итог недавнему прошлому, он говорит:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,

Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.

Минутные друзья минутной молодости и наперсницы порочных заблуждений забыты и только:

…прежних сердца ран,
Глубоких ран любви,
Ничто не исцелило…

Эти стихи навеяны некоторыми строками Байроновского «Чайльд-Гарольда». Но знаменателен самый выбор образца для подражания. Итак, к тому моменту, когда Пушкин попал в Крым, первоначальная острота чувства, зародившегося в Петербурге, ослабела. Он вновь мог писать и творить. Но душевная омертвелость проходила лишь постепенно; он не был вполне уверен в окончательном воскресении своего поэтического таланта и в ближайшие годы не раз возвращался к этой теме.

И ты, моя задумчивая лира,
Найдешь ли вновь утраченные звуки?

«Желание», 1821 год

Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений

«Война», 1821 год

И, наконец, еще в первой песни «Евгения Онегина»:

Адриатические волны!
О, Брента! Нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас.

«Кавказский пленник» был задуман на Минеральных Водах и писался в Гурзуфе. Это произведение в значительной мере автобиографическое, дающее ключ к пониманию душевной жизни Пушкина летом 1820 г.

Конечно, никакой внешней аналогии не было. Пушкин не только не побывал в плену у горцев, но ему даже не удалось

в тот раз посетить горные области Кавказа, и потому действие поэмы, которое должно было бы развиваться где-нибудь в недоступных дебрях Дагестана или Чечни, перенеслось в травянистые долины, открывающиеся взору от склонов Машука. Но характер «Пленника» создан Пушкиным по своему собственному образу и подобию. Он отлично сознавал это. «Характер “Пленника” неудачен, — пишет он В. П. Горчакову из Кишинева, — это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века».

«Кавказский пленник» считается первым опытом в ряду байронических поэм Пушкина. Это прочно укоренившееся мнение требует поправок. Еще проф. Сиповский указал, что по сюжету своему поэма гораздо ближе стоит к американским повестям Шатобриана. И вполне правильно замечает П. Е. Щеголев: «Чисто литературные разыскания и сравнения недостаточны для разрешения вопроса о формах и степени этих литературных влияний: необходимы и чисто биографические изучения. Герои чужеземные влияли не на изображение лиц в поэмах Пушкина, не на литературу, а на жизнь; прежде всего они были образцами для жизни. Каким был Пушкин действительный в первое время ссылки? В те годы, когда возникли влияния Шатобриана и Байрона, Пушкин еще не отдавал себе отчета в том, что было сущностью его духовной личности. Он самому себе казался романтическим героем; находя некоторые соответствия в своей жизни с теми обстоятельствами, которые характерны и для властителей его дум, и для их героев, Пушкин искренно думал, что он им подобен и должен осуществить ту жизнь, какой жили его воображаемые и жившие герои и какая казалось столь безумно очаровательной со страниц их произведений. Таким образом, литература, создавая героев, влияла на жизнь… И когда Пушкин переходил от повседневной жизни к творчеству, ему

не нужно было прибегать к внешним заимствованиям для изображения своего героя. Он был искренен и оригинален, черпая материал для характеристики в самом себе и считая созданное им представление о самом себе тождественным тому внутреннему существу своему, которое было тогда закрыто для него. Мы можем судить о том, каков был или, вернее, каким казался тогда Пушкин по его признаниям. Из собственного его признания мы, например, знаем, что в "Кавказском пленнике" он изображал себя или того Пушкина, за какого стремился себя выдать».

Итак, по замыслу самого Пушкина «Пленник» должен был явиться психологическим двойником своего автора. Какими же чертами наделяет поэт героя повести?

На первом месте здесь нужно поставить душевную омертвелость, совершенно подобную той, о которой говорят лирические стихотворения:

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену,
В сердцах друзей нашел измену,
В мечтах любви безумный сон;
Наскучив жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Пленник, еще в России, еще на севере, «много милого любил», «обнял грозное страданье» и, бежав на юг,

… лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Истинной причиной его душевной опустошенности, кроме бурно-проведенной молодости, является несчастная

любовь, пережитая на родине. В чужом краю другая, новая любовь идет ему навстречу. Напрасно:

…русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье:
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой.
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать.

Влюбленная черкешенка открывается ему в своих чувствах. Он слушает ее с безмолвным сожалением:

Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без upованья.
Пред юной девой, наконец,
Он излиял свои страданья.
………………………………..
Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать,
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной,
Как тяжко мыслить о другой…
Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно.
Снедая слезы в тишине
Тогда, рассеянный, унылый,
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю;
О нем в пустыне слезы лью;

Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Вспоминать об отсутствующей возлюбленной, сжимая в своих объятиях другую женщину, — такова ситуация, изображенном еще в стихотворении «Дорида», написанном в Петербурге в самом начале 1820 года. О психологической возможности такой ситуации необходимо будет вспомнить, когда мы станем говорить о сердечных увлечениях Пушкина в Крыму. Теперь же следует еще раз с особою силою подчеркнуть, что, признавая автобиографическое значение «Кавказского пленника», трудно отрицать факт «северной любви» Пушкина, к кому бы ни относилась эта любовь.

II

6 мая 1820 года по высочайшему повелению Пушкин был выслан из столицы и направлен для несения службы на юг, под начальство генерала Инзова, попечителя о колонистах Новороссийского края. Дней десять спустя он добрался до Екатеринослава, где находилась в это время Инзовская канцелярия. Он оставался здесь недолго. Счастливая случайность предоставила ему способ продолжить путешествие, бывшее для него чрезвычайно благотворным во многих отношениях. Во время этой поездки он, сколько известно, не подавал о себе никаких вестей своим друзьям и близким, и только из Кишинева, уже во второй половине сентября, собрался написать Л. С. Пушкину:

«Милый брат, я виноват перед твоей дружбою, постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою

оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня в счастливый путь — я лег в коляску больной, через неделю вылечился. 2 месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем купался в теплых кисло-серных, в железных и кислых холодных… Видел берега Кубани и сторожевые станицы — любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению… С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я, — на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею — вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в Кефу… Отсюда морем отправились мы

мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю; отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели.

Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, — жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море, друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии».

Это письмо можно дополнить другим, посланным в 1824 г. к барону А. А. Дельвигу:

«Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу [развалины какой-то башни], там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною,

в тумане, тянулись полуденные горы… “Вот Чатырдаг”, — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа — огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…

На полуденном берегу в Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря, и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось; я начал уже тосковать о милом полудне — хотя все еще находился я в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами [о **]. Вот они:

К чему холодные…

и проч.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes. Войдя во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавевшей железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. N почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище.

…но не тем
В то время сердце полно было —

Лихорадка меня мучила…

Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»

Мы привели такие длинные выдержки из корреспонденции Пушкина, ибо она представляет собою в сущности единственный обстоятельный источник сведений об этом периоде его жизни. От современников до нас дошли только краткие упоминания, как, например, в путевых записках Геракова или в мемуарах княгини М. Н. Волконской. Но рассказ Пушкина, при всей своей живости, не полон и требует некоторых добавлений.

Сопоставляя показания писем с теми данными, которые нам известны из других источников, и с намеками, разбросанными в стихах, можно нарисовать следующую приблизительную картину душевного состояния Пушкина в летние месяцы 1820 года. Он выехал из Петербурга смертельно утомленный разгульной жизнью, которую там вел, и снедаемый горькими воспоминаниями о неудачной любви. Сверх того, в последние месяцы перед отъездом он испытывал

жесточайшее нервное возбуждение — результат ложных, позорящих слухов, распространявшихся на его счет в петербургском обществе. Он был вне себя и едва не натворил величайших безумств. Но немедленно после отъезда наступила реакция, сопровождаемая глубоким упадком телесных и нравственных сил. Выздоровление наступало после этого медленно и постепенно, тем более что ему препятствовали пароксизмы лихорадки, схваченной в Екатеринославе. Как всякий выздоравливающий, Пушкин прежде всего испытывал чувство чисто физического блаженства, успокоения и бездумья. Об этом говорят строки его писем, посвященные изображению жизни в Гурзуфе, об этом же обмолвился он стихами в посланиях к Чаадаеву:

И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.

И в другом месте:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и мир, и тишина.

Мечтая впоследствии о возвращении в Крым, он спрашивает себя:

Приду ли вновь под сладостные тени
Душой заснуть на лоне мирной лени?

Какова же была его сердечная жизнь за описанное время? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться несколько подробнее с личным составом той семьи, под гостеприимным кровом которой Пушкин беспечно блаженствовал на юге.

У генерала Н. Н. Раевского было шесть человек детей: четыре дочери и два сына. С младшим из этих сыновей, ротмистром Николаем Николаевичем Раевским, и, вероятно, лишь с ним одним, Пушкин был знаком еще в Петербурге. Узы тесной дружбы связывали их. Раевский успел оказать Пушкину какие-то чрезвычайно важные услуги перед ссыл-

кой. Вероятно, был посвящен он и в тайну северной любви поэта. Об этом говорят вступительные строки «Кавказского пленника».

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладной,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили —
Я близ тебя еще спокойство находил…

Старший сын генерала Раевского, Александр Николаевич, присоединился к обществу только на Минеральных Водах. Этот человек, душевно не столь близкий Пушкину, имел, однако, на него сильнейшее умственное влияние, продолжавшееся в течение четырех лет с лишком. Об Александре Раевском нам придется подробнее говорить ниже, когда мы коснемся пребывания Пушкина в Одессе в 1823–1824 гг.

Из дочерей обе младшие — Софья и Мария — сопровождали отца на Кавказ. Две старшие — Екатерина и Елена — вместе с матерью приехали прямо в Крым. Софье было только 12 лет, Марии лет 14–15. По отзыву графа Густава Олизара, узнавшего ее немного позднее, она была некрасивым смуглым подростком. Впоследствии красота ее расцвела. Но в пору своего первого знакомства с Пушкиным будущая княгиня Волконская оставалась почти девочкой, способной на чисто детские проказы. Вспоминая много лет спустя о своей встрече с поэтом, она писала:

«Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собой на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал; связанный дружбой с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности.

Как поэт, он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он

встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, с нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта карета была очень грациозна и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже, в поэме "Бахчисарайский фонтан" он сказал:

…ее очи
яснее дня,
Темнее ночи.

В сущности он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел».

Насколько серьезно могло быть увлечение Пушкина Марией Раевской, этой девочкой с совсем не сложившимся характером? На этот счет у нас нет никаких прямых указаний. Даже факт посвящения ей приведенной строфы из «Онегина» не может считаться окончательно установленным. Княгиня Волконская просто сопоставила стихи Пушкина со случайным отрывком из своих полудетских воспоминаний. То обстоятельство, что первоначальный набросок этой строфы предшествует в черновых рукописях самым ранним редакциям первой песни «Онегина», не может иметь само по

себе решающего значения. Сначала было задумано краткое лирическое стихотворение, а потом Пушкин решил включить его в поэму. Вот и все. Остальные выводы покоятся на более или менее шатких допущениях.

В допущениях этого рода П. Е. Щеголев пошел чрезвычайно далеко. Он решается категорически утверждать, что Мария Раевская была предметом страстной любви Пушкина, — любви, длившейся в течение нескольких лет и наложившей свою печать на многие из его важнейших произведений. В особой главе мы постараемся показать, насколько мало обоснованной является подобная гипотеза.

Конечно, отрицать начисто самую возможность для Пушкина быть влюбленным в Марию Раевскую все же нельзя. Многолюбивое сердце его было для этого достаточно просторно. Целый рой женских образов обитал в нем. Мгновенная вспышка чувства могла родиться в душе Пушкина в самом начале путешествия или во время пребывания в Пятигорске. Это было первым признаком начинающегося душевного выздоровления. Пушкин еще находился всецело под властью воспоминаний о своей северной любви. Но эта мучительная страница его жизни была уже им перевернута. Вечно тревожная фантазия рисовала ему картины новой любви. Однако — это нужно отметить — он, подобно своему «Пленнику», должен был остаться бесчувственным и душевно охладелым. Его уста по-прежнему шептали другое, милое имя. Любить страстно и самозабвенно досталось в удел одной только Черкешенке. С некоторой долей вероятия можно допустить, что смуглая Мария Раевская послужила моделью для создания образа «Девы гор»[3]. Если так оно и случилось

---

[3] В 1914 г. М. А. Цявловский издал черновой набросок, по-видимому, 1828 года, относящийся к известному стихотворению «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Здесь читаем:

Напоминают мне оне
Кавказа горные вершины,

на самом деле, то весь роман Пушкина с будущей княгиней Волконской был пережит поэтом исключительно в воображении, пережит скорее как литературный замысел, нежели как биографический факт.

Подобную догадку, да и то с оговорками, можно построить на основе имеющихся данных. А все остальные утверждения Щеголева, подкрепленные весьма сложной комбинацией аргументов, необходимо полностью отвергнуть.

III

В Гурзуфе Пушкин имел возможность впервые познакомиться с обеими старшими дочерьми генерала — с Екатериной, которой было уже двадцать два года, и с Еленой, которой недавно исполнилось шестнадцать лет. Имя Катерины III красуется в Донжуанском списке сейчас же после неведомой биографам Настасьи.

Не уцелело никаких прямых свидетельств, позволяющих с полной уверенностью судить о действительном характере этого крымского увлечения Пушкина. Но, по-видимому, оно не было ни слишком длительным, ни особенно глубоким. В мае 1821 года Екатерина Николаевна вышла замуж за генерала М. Ф. Орлова, который командовал дивизией, расквартированной в Кишиневе, и Пушкин был частым гостем в их

Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины.

Цявловский полагает, что в стихах содержится воспоминание о Марии Раевской. Это вполне возможно. Грузинская мелодия напомнила Пушкину

И степь, и ночь, и при луне,
Черты далекой, бедной девы.

Но мнение Лернера, давно уже отожествившего эту «далекую, бедную деву» с предметом утаенной любви Пушкина, является лишь субъективной догадкой.

Если Пушкин и увлекался Марией Раевской, то, всего вероятнее, увлекался ею на Кавказе. Уже в Крыму внимание его было отвлечено в другую сторону.

доме. Ничто не указывает, чтобы он продолжал в это время питать какое-либо задушевное чувство к Орловой. Мы не знаем лирических стихотворений, ей заведомо посвященных. Но несколькими годами позже он писал из Михайловского кн. Вяземскому: «Моя Марина — славная баба, настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

Сближение с Мариною Мнишек дает отчасти возможность представить себе, какого склада женщиной была Екатерина Николаевна. Властолюбивая, гордая, хитрая и резкая, она, выйдя замуж, стремилась командовать мужем, в чем, кажется, и успела. Шутливые рисунки в семейном альбоме Раевских изображают ее с пучком розог в руках. Перед нею, словно школьник, стоит на коленях провинившийся супруг. Некоторые ее письма дошли до нас. В них есть что-то жесткое и довольно бездушное. О Пушкине она отзывается с легким оттенком пренебрежения.

«Пушкин, — пишет она из Кишинева брату Александру в ноябре 1821 года, — больше не корчит из себя жестокого; он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз».

«Мы очень часто, — сообщает она неделю спустя, — видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный всеобщий мир и что тогда не будет проливаться никакой крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями и с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками».

Когда появилась биография Пушкина, написанная Анненковым, и Екатерина Николаевна прочитала там, что поэт,

будучи в Крыму, изучал английский язык якобы под ее руководством, она сочла нужным резко протестовать. По ее словам, старинные строгие понятия о приличии не могли допустить подобной близости между молодой девушкой и молодым человеком. Отсюда как будто явствует, что о другой близости, более интимной, не могло быть и речи. Но само собой разумеется, что правдивость этого сообщения всецело остается на совести Екатерины Николаевны.

Шестнадцатилетняя Елена Раевская была самой красивой из всех четырех сестер. Это не укрылось даже от путешествовавшего в то время по северному Кавказу и по Крыму Геракова, тупого и напыщенного педанта. «В восьмом часу, — рассказывает Гераков в своем дневнике, — быв приглашен, пил чай у Раевской; тут были все четыре дочери ее; одной только прежде я не видел — Елены; могу сказать, что мало столь прекрасных лиц».

Елена отличалась весьма слабым здоровьем и тем вызывала в семье постоянные опасения. Несомненно, к ней относятся стихи Пушкина:

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежною красой и т. д.

Это отнюдь не любовное стихотворение. И вообще достойно замечания, что лирические стихи 1820 года, определенно связанные с Крымом и семьей Раевских, лишены любовного колорита. Подобная сдержанность отчасти объясняется тем, что барышни Раевские, по-видимому, были необычайно щекотливы в отношении личных намеков, могущих встретиться в стихах и стать достоянием гласности. Что, например, может быть невиннее пьесы «Таврическая звезда»:

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.

Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят таврические волны.
Там, некогда, в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим — подругам называла.

И однако Пушкин долго сердился на А. А. Бестужева, напечатавшего целиком эту элегию.

Впоследствии, все по причине той же неумеренной щепетильности девиц Раевских, он дошел до того, что в стихотворении «Нереида», вместо первоначально стоявших слов «сокрытый меж олив» поставил «сокрытый меж дерев», с целью устранить лишнюю черту, рисующую крымскую обстановку, хотя в первой строке совершенно недвусмысленно значится: «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду».

Пьесе «Таврическая звезда» и вызванной ее опубликованием переписке Пушкина с Бестужевым, принадлежит видное место в выяснении вопроса об утаенной любви Пушкина. П. Е. Щеголев нисколько не сомневается, что стихи эти относятся к Марии Раевской. Но он не обратил внимания на одно существенное обстоятельство: называть звезду именем Марии (или Екатерины) нет, в сущности, никаких оснований. Зато имеется древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Этот миф могли знать и сестры Раевские, и Пушкин. Наконец, поэту еще со времени лицейских уроков должна была быть известна горацианская строка:

…fratres Helenae, lumina sidera.

По всем этим соображениям, «Таврическая звезда», скорее всего, должна быть относима к Елене Раевской[4].

В 1821 году и позднее, вспоминая в стихах свое пребывание в Крыму, Пушкин писал гораздо свободнее. В элегии «Желание» он спрашивает:

Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

В недоконченном наброске «Таврида», носящем эпиграф, первоначально предназначавшийся для «Кавказского пленника» — gieb mein Jugend mir zurück — поэт говорит совершенно определенно:

Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я!
Одушевленные поля,
Холмы Тавриды, край прелестный,
Тебя я посещаю вновь,
Пью жадно воздух сладострастья.
Везде мне слышен тайный глас
Давно затерянного счастья.

(1822)

Эти и многие другие намеки и полупризнания позволяют утверждать, что Пушкин был в кого-то влюблен, находясь в Крыму. Но в кого именно? В Екатерину, если верить Донжуанскому списку; в Елену, если исходить от элегии «Таврическая звезда» или в Марию, если согласиться со Щеголевым. Но всего вернее, он был влюблен во всех трех за раз, и понемногу; любил не какую-либо одну представительницу семьи

[4] Следует, впрочем, отметить, что Вячеслав Ив. Иванов в руководимом им пушкинском семинарии, толкуя последние два стиха элегии, указывал, что в католическом мире Вечерняя Звезда именуется иногда «Звездою Марии». В. И. Иванов, конечно, большой знаток в подобного рода вещах. Но Пушкин таким знатоком не был, и античная мифология, широко использованная французской классической поэзией, была ему, несомненно, ближе, нежели католическая символика.

Раевских, но всю женскую половину этой семьи, подобно тому, как находился в дружеских отношениях со всею мужской половиной. Только любовь эта вовсе не была той единственной, исключительной, утаенной от всего света любовью, над которой ломают голову биографы. Говоря современным языком, у Пушкина в Крыму завязался «курортный» роман — всего вернее, с Екатериной Раевской, но, может быть, также с Еленой. Это был легкий, полуневинный флирт, однако сопровождавшийся, быть может, со стороны участниц его довольно бурными порывами ревности. Мотив страстной женской ревности, едва намеченный в «Кавказском пленнике», имеет первостепенное значение в «Бахчисарайском фонтане» — южной поэме, непосредственно связанной с Крымом. Конечно, прообразы Марии и Заремы могли быть найдены поэтом и вне семьи Раевских. При создании этих двух своих героинь он воспользовался и литературными образцами (в «Бахчисарайском фонтане» впервые совершенно ощутительно сказывается преобладающее влияние Байрона) и своими личными воспоминаниями, относящимися к другой поре жизни. Все же тени сестер Раевских как бы мелькают над страницами поэмы.

Но их ли одних вспоминал Пушкин, когда писал в Кишиневе и отделывал в Одессе свое новое произведение? На этот вопрос нельзя ответить с полной уверенностью. По словам самого поэта, в «Бахчисарайском фонтане» содержался, на ряду с художественным вымыслом, и «любовный бред», выпущенный при первом издании поэмы. Часть этого «бреда», можно думать, совершенно пропала для нас. Другая часть была отыскана в рукописях и опубликована позднейшими издателями. Это нечто вроде лирического послесловия к поэме. В нем Пушкин рассказывает о том, как он «посетил Бахчисарая в забвеньи дремлющий дворец»:

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось!... Но не тем
В то время сердце полно было:

Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью;
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!

После этих строк во всех изданиях поэмы, делавшихся при жизни Пушкина, либо имелся пробел, либо была поставлена строка тире и точек. Все это должно было указать на некий пропуск, никогда и никем, к несчастью, не восстановленный. Далее во всех печатных воспроизведениях следует:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне, чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Явилась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?
Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную…

Здесь в прижизненных изданиях опять шел пропуск. Анненкову удалось его восполнить.

Все думы сердца к ней летят;
Об ней в изгнании тоскую…
Безумец! Полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной.
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань. —
Опомнись! Долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать,
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать.

Наконец, последние двадцать стихов, напечатанные еще при жизни поэта, содержат общее обращение к Крыму и к его природе.

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу, и любовь,
О, скоро ль вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду, на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.

Замечательно, что он мечтает вернуться в Крым, забыв о любви. Он однажды изведал уже на собственном опыте целительное действие, которое крымская жизнь оказывала на сердечные раны, и стремился вновь воспользоваться этим лекарством.

IV

Покинув Крым, Пушкин, однако, не сразу расстался с Раевскими. Всего несколько дней провел он в Кишиневе, куда перебралась тем временем канцелярия Инзова, и уже в ноябре 1820 года мы вновь встречаем его в гостях у Раевских, на сей раз в имении Каменка Киевской губернии. Здесь оставался он до марта 1821 года и, кроме того, еще дважды приезжал сюда погостить в течение ближайших лет. Эти наезды должны были оставить в нем воспоминание, почти столь же приятное, как и жизнь в Крыму. Но собственное настроение его несколько изменилось: он был гораздо бодрее, вполне здоров и более, чем когда-либо, обуян либеральным и оппозиционным духом.

Каменка принадлежала племяннице князя Потемкина Екатерине Николаевне, урожденной Самойловой, по первому мужу Раевской, по второму — Давыдовой. Ко времени появления Пушкина в числе ее гостей она успела овдоветь вторично. Генерал Н. Н. Раевский был ее старшим сыном. От брака с Давыдовым у нее родились еще два сына — Александр и Василий. Кроме родственников хозяйки, т. е. всей многочисленной семьи Раевских-Давыдовых, в Каменке

постоянно гостило множество посторонних. Эта усадьба, расположенная поблизости от Тульчина, штаб-квартиры 2-й армии, была одним из важнейших центров тайного политического движения, происходившего среди тогдашнего офицерства и уже начавшего принимать форму серьезного военного заговора.

Пушкин был чрезвычайно доволен и обществом, собиравшимся в Каменке, и приемом, который ему там оказывали, и своим собственным времяпрепровождением. Он писал Н. И. Гнедичу в декабре 1820 г.: «…теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов».

Хотя женщин было мало, одна из них все-таки остановила на себе внимание Пушкина. В Донжуанском списке, после Катерины III, встречаем имя Аглаи. Так звали супругу Александра Львовича Давыдова.

Этот последний, в отличие от своего младшего брата Василия, видного декабриста, не был ни особенно умен, ни серьезен. Отставной генерал, ветеран наполеоновских войн, он славился гастрономическими талантами и чудовищным аппетитом и в общем был живым подобием гоголевского генерала Бетрищева. Пушкин сравнивал его с Фальстафом. «В молодости моей, — рассказывает он, — случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. *** был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, неглуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную: он был женат».

И жена этого русского Фальстафа была одарена от природы именно таким характером, какой нужен для героини веселой комедии, приближающейся к фарсу. Аглая Антоновна Давыдова была дочерью герцога де Грамона, французского эмигранта-роялиста. Таким образом, в ее жилах текла кровь знаменитого волокиты и самого блестящего кавалера эпохи Людовика XIV, графа де Грамона, прославленного в мемуарах Гамильтона. Нужно отдать справедливость Аглае Антоновне: она не изменила традициям галантности, связанным с именем ее предка. Ее дальний родственник, один из Давыдовых, сын известного партизана Дениса Давыдова, рассказывает, что она, «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка, искала в шуме развлечений средства не умереть со скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующих до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но — главное — умирало у ног прелестной Аглаи».

Ее роман с Пушкиным, быть может, слишком зло, но в общих чертах, несомненно, верно рассказан в стихотворении «К Аглае»:

И вы поверить мне могли,
Как семилетняя Агнесса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — не многим боле;
Мне за двадцать: я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны,
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Тревоги сердца надоели;
Умы давно в нас охладели,
Некстати нам учиться вновь —

Мы знаем — вечная любовь
Живет едва ли три недели!
Я вами точно был пленен,
К тому же скука… муж ревнивый…
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы.
Мы поклялись; потом… увы!
Потом забыли клятву нашу, —
Себе гусара взяли вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Все хорошо, благопристойно:
Могли бы мы без глупых ссор
Жить мирно, дружно и спокойно,
Но нет! В трагическом жару
Вы мне сегодня поутру
Седую воскресили древность:
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар, и грусть, и ревность…
Помилуйте, нет, право, нет,
Я не дитя, хотя поэт.
Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату,
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату.
Им можно с жизнию шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

Аглая Антоновна никак не могла простить этих рифмованных колкостей, которые, надо думать, не остались ей вполне неизвестны. Один кишиневский знакомец Пушкина, навестивший чету Давыдовых в 1822 г. в Петербурге, заметил, что «жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал».

Адель Давыдова — старшая дочь Аглаи Антоновны — также не может быть совершенно пропущена в обзоре сердечных увлечений поэта. Декабрист И. Д. Якушкин, гостивший в Каменке в конце 1820 года и вынесший, кстати сказать, не особенно благоприятное впечатление из своего знакомства с Пушкиным, сохранил для нас следующую сценку: «У нее [Аглаи Давыдовой] была премиленькая дочь, девочка лет двенадцати. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне же стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: "Посмотрите, что вы делаете: вашими взглядами вы совершенно смутили бедное дитя". — "Я хочу наказать кокетку, — ответил он, — прежде она со мною любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня". С большим трудом удалось обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться».

В честь Адели Давыдовой Пушкин написал стихи, где говорится:

Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви…

Но бедной девушке не пришлось воспользоваться этими советами. После смерти Александра Львовича Аглая Антоновна уехала с детьми за границу и здесь задумала вторично выйти замуж за французского генерала Себастиани. По-видимому, Адель каким-то образом могла явиться препятствием к этому браку. Тогда ее обратили в католичество и постригли в монахини в обители урсулинок, где она и осталась до конца жизни.

Глава четвертая

I

Как ни весело жилось в Каменке, все же рано или поздно надо было оттуда уехать. Добрый Инзов и без того продлил свыше всякой меры срок отпуска, предоставленного опальному поэту. Весною 1821 года Пушкин прочно устраивается в Кишиневе, и для него наступает жизнь на далекой окраине, жизнь снова чисто на холостую ногу, шумная, безалаберная, но вряд ли очень скучная. Умный старик Инзов, отлично понимая, с кем имеет дело, не обременял службой своего невольного подчиненного.

Литературное творчество, очень напряженное в этом периоде, все же поглощало сравнительно небольшую часть досугов. Остальное время Пушкин развлекался, как мог и как умел, посреди шумной компании приятелей.

В описываемую эпоху Кишинев был довольно своеобразным городом. Присоединенный к России всего за десять лет перед тем, он хранил многочисленные остатки недавнего турецкого владычества. Живописный азиатский колорит лежал на вещах и на людях. Знатные молдавские бояре, члены Верховного совета Бессарабии, еще носили бороды, чалмы и красивые восточные одежды. Но младшее поколение уже успело обриться и надеть европейские фраки.

Наряду с молдаванами — русскими подданными, а также офицерами и чиновниками, наехавшими из России, к кишиневскому обществу принадлежали многочисленные беженцы румынского и греческого происхождения. Восстание этеристов против турецкого владычества уже началось. Ответом послужила резня христиан по всей Турции. Богатые константинопольские фанариоты и знатные землевладельцы из зарубежной Молдавии с чадами и домочадцами спасались в Россию. Многие из них устроились в Кишиневе.

Здесь были налицо все необходимые последствия резкой перемены в общественных нравах, привычках и образе жизни.

Особенно резко сказалась эта перемена на женской половине общества. Молдаванки и гречанки, еще недавно содержавшиеся в строгом, почти гаремном затворе, на мусульманский лад, внезапно познакомились с европейской цивилизацией в образе маскарадов, балов, французских романов и мод, привозившихся из Вены, а то и прямо из Парижа. Необузданная жажда жизни со всеми ее радостями родилась отсюда. Кишиневские дамы, в большинстве своем удержавшие еще некоторый восточный отпечаток во внешности и в характере, но уже по-европейски свободные в обращении, были страстны, влюбчивы и доступны. Двадцатитрехлетний Пушкин великолепно чувствовал себя в этом мире бездумья и легких наслаждений.

Скандальная хроника Кишинева, много занимавшаяся поэтом и опутавшая этот период его жизни целой сетью анекдотов, зачастую апокрифических, донесла до нас, как отдаленное эхо, немало имен, принадлежавших героиням мелких и по большей части весьма кратковременных любовных интриг.

Людмила-Шекора, жена помещика Инглези, известная своей красотой и романтическими похождениями, была по крови цыганка. Согласно преданию, не поддающемуся проверке, именно от нее Пушкин слышал молдаванскую песню, переведенную им и вложенную в уста Земфиры:

Старый муж,
Грозный муж,
Режь меня,
Жги меня и т. д.

Связь Пушкина с Людмилой не осталась в тайне. Муж узнал обо всем, запер ветреную цыганку в чулан и вызвал поэта на дуэль. Но своевременно предупрежденный Инзов посадил Пушкина на десять дней на гауптвахту, а чете Инглези предложил немедленно уехать за границу. Рассказывают, что

Людмила, снедаемая неутешной любовью, захворала чахоткой и вскоре умерла, проклиная и мужа, и Пушкина.

Жены кишиневских нотаблей Мариола Рали и Аника Сандулаки, по-видимому, были также в числе возлюбленных Пушкина. Можно думать, что у него была связь и с Мариолой Балш, молодой супругой члена Верховного совета Тодораки Балша. Но связь эта скоро прервалась. Красивая Мариола затаила злобу на Пушкина и преследовала его разными обидными намеками, так что он в конце концов вызвал на дуэль, а потом ударил по лицу ее мужа, почтенного и уже пожилого боярина. Это дело повлекло для Пушкина новое заточение под арестом.

О той манере, которой придерживался Пушкин в сношениях с женщинами во время жизни в Кишиневе, всего легче можно судить по отрывку чернового письма, писанного уже в Одессе и предназначавшегося для двух неизвестных кишиневских дам.

«Да, конечно, я угадал двух очаровательных женщин, удостоивших вспомнить ныне одесского, а некогда кишиневского, отшельника. Я тысячу раз целовал эти строки, которые привели мне на память столько безумств и мучений стольких вечеров, исполненных ума, грации и мазурки и т. д. Боже мой, до чего вы жестоки, сударыня, предполагая, что я могу веселиться, не имея возможности ни встретиться с вами, ни позабыть вас. Увы, прелестная Майгин, вдалеке от вас я утратил все свои способности, в том числе и талант карикатуриста… У меня есть только одна мысль — вернуться к вашим ногам. Правда ли, что вы намерены приехать в Одессу? Приезжайте, во имя неба! Чтобы привлечь вас, у нас есть балы, итальянская опера, вечера, концерты, чичисбеи, вздыхатели, все, что вам будет угодно. Я буду представлять обезьяну и нарисую вам г-жу Вор. в 8 позах Аретина.

Кстати по поводу Аретина: должен вам сказать, что я стал целомудрен и добродетелен, т. е., собственно говоря, только

на словах, ибо на деле я всегда был таков. Истинное наслаждение видеть меня и слушать, как я говорю. Заставит ли это вас ускорить ваш приезд? Приезжайте, приезжайте во имя неба, и простите свободу, с которой я пишу к той, которая слишком умна, чтобы быть чопорной, но которую я люблю и уважаю…

Что до вас, прелестная капризница, чей почерк заставил меня затрепетать, то не говорите, будто знаете мой нрав; если бы вы знали его, то не огорчили бы меня, сомневаясь в моей преданности и в моей печали о вас».

Ни имени Майгин, этой неведомой нам корреспондентки Пушкина, о которой он упоминает в относящемся к тому же времени письме к Ф. Ф. Вигелю, ни имен других перечисленных нами обитательниц Кишинева нет в Донжуанском списке. Очевидно, большинство кишиневских связей оставило после себя лишь мимолетное воспоминание. Чести фигурировать в аутентичном перечне пушкинских увлечений удостоились только Калипсо и Пульхерия.

Калипсо Полихрони, о которой рассказывали, будто она была любовницей Байрона во время его первого пребывания в Турции, — бежала оттуда после начала константинопольских погромов сначала в Одессу, а потом, в середине 1821 года, поселилась вместе с матерью в Кишиневе. «Она была нехороша собой, — рассказывает Ф. Ф. Вигель, довольно близко ее знавший, — маленького роста, с едва заметной грудью, с длинным, сухим лицом, всегда нарумяненным, с большим носом и огромными, огненными глазами.

У нее был голос нежный и увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них Пушкин переложил с ее слов на русский язык под именем "Черной шали"[5]. Кроме

[5] Согласно другому известию, Пушкин слышал эту молдаванскую, а не турецкую песню от молдаванки Марионилы, служанки так называемого «Зеленого трактира». — *П. Г.*

турецкого и греческого, она знала арабский, молдаванский, итальянский и французский языки. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если бы она жила в век Перикла, — история верно бы нам сохранила имя ее вместе именами Фрины и Лаисы».

Калипсо Полихрони посвящено стихотворение «Гречанке» (Ты рождена воспламенять воображение поэтов). Ее связь с Пушкиным длилась весьма короткое время. Они познакомились не ранее середины 1821 года, а уже в начале 1822-го Вигель заметил ослабление сердечного жара у поэта. Другой современник — И. П. Липранди — даже утверждает, что «Пушкин никогда не был влюблен в Калипсу, так как были экземпляры несравненно получше, но ни одна из бывших тогда в Кишиневе не могла в нем порождать ничего более временного каприза».

Относительно дальнейшей судьбы Калипсо сохранились романтические — но малоправдоподобные — рассказы румынского писателя Негруцци. Она якобы удалилась в Молдавию, в мужской монастырь, где жила под видом послушника, исправно посещая все церковные службы и удивляя монахов своим благочестивым рвением. Никто не подозревал в ней женщины, и ее инкогнито было разоблачено только после ее смерти.

Совершенной противоположностью огненной, страстной гречанке была вялая и малоподвижная румынка Пульхерия, дочь боярина Варфоломея. Писатель А. Ф. Вельтман, живший в Кишиневе одновременно с Пушкиным, такими словами набрасывает ее силуэт: «Она была необъяснимый феномен в природе. Я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. Те движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. Ее лицо и руки так были изящны, что казались мне натянутою лайкой… Пульхерица была круглая, полная, свежая девушка; она любила говорить

более улыбкой, но это не была улыбка кокетства; нет, это просто была улыбка здорового беззаботного сердца… Многие добивались ее руки, отец изъявлял согласие; но едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца — все вступления к изъяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала: Ah, quel vous êtes!.. Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, никогда не ведавшее ни желаний, ни зависти».

Разумеется, никакого настоящего романа не могло быть у Пушкина с этой холодной, мраморной красавицей, похожей на женщину-автомата из сказки Гофмана. Пульхерица долго оставалась девушкой и уже в довольно зрелых годах вышла замуж за Мано, греческого консула в Одессе.

В Кишиневе Пушкин пережил полосу наиболее острого увлечения, почти отравления Байроном. Все представлялось ему необыкновенно обаятельным в английском поэте: и колоссальные образы фантазии, и мелодия стихов, и буйный дух мятежа, их наполнявший, и личная судьба добровольного изгнанника, судьба, которую Пушкин с некоторой натяжкой сравнивал со своею собственной. Как мы видели, случай дал ему возможность сблизиться с бывшей любовницей Байрона. Была у них и другая общая возлюбленная — тоже гречанка — по имени Елевферия, т. е. свобода греческого народа, восставшего против вековых угнетателей. Пушкин из Кишинева, а Байрон из Италии с одинаковым интересом следили за ходом восстания. Потом Байрон не выдержал и лично отправился в Грецию, где его ожидала преждевременная могила. О Пушкине любители сенсационных слухов тоже рассказывали с некоторым основанием, что он готов бежать в Яссы, к войскам князя Ипсиланти.

Но Пушкину было недостаточно этих черт случайного сходства. Подобно своему Онегину, он носил некоторое время Гарольдов плащ, пытался стилизовать себя под Байрона и его героев, стремился приобщиться возможно более интимно

к той стихии анархического бунта, глашатаем и провозвестником которой был неукротимый английский лорд. По-видимому, у него имелось для этого некоторое право: разочарованный изгнанник, сохранявший в сердце, словно прикрытые пеплом, жгучие воспоминания неразделенной любви; жертва ядовитых сплетен; поэт, справедливо сознававший собственную гениальность, но не понятый светом и молвой; политический преступник и смелый вольнодумец, гонимый деспотическим и лицемерным правительством, — Пушкин не раз был готов окончательно озлобиться. Кишиневские скандалы и дуэли были случайным и далеко не полным психическим разрядом вечно кипевшего раздражения. Они помогали отвести душу, но бессильны были освободить ее вполне от гнета злых и мстительных страстей. Порою Пушкин испытывал приступы настроения, которое трудно назвать иначе, как сатанизмом, и которые так смущали его первого биографа, благонравного Анненкова.

В одну из таких минут, поэт создал произведение, доставившее ему потом много неприятностей. «Гаврилиада», напечатанная полностью в России совсем недавно, является памятником не успевшего укорениться у Пушкина, но все же знакомого ему цинического нигилизма. Ехидный вольтерианский смешок соединяется здесь с кровавой иронией в духе Байрона. По совершенно верному замечанию П. Е. Щеголева, «Гаврилиада» содержит в себе не только издевательство над религией, но и яростное оскорбление любви. Нельзя поэтому пройти мимо этой «отысканной в архивах ада поэмы», излагая историю сердечной жизни Пушкина.

Он много раз пытался «разоблачить пленительный кумир», растоптать ногами идеал чистой женственности и показать воочию «призрак безобразный», скрывающийся за ним. Но никогда ему не удалось столь успешно разрешить эту задачу, как в «Гаврилиаде».

В прологе «Гаврилиады», равно как в некоторых одновременных с нею и довольно непристойных эпиграммах, мы

встречаем образ какой-то еврейки, за поцелуй которой Пушкин, разумеется в шутку, выражает даже готовность приступить к вере Моисея. Осталось неизвестным, кого имел он при этом в виду. Еврейкой прозвали в Кишиневе Марию Егоровну Эйхфельдт, урожденную Мило, жену обер-бергауптмана Ивана Ивановича. Считалось почему-то, что она похожа на Ревекку — героиню известного романа Вальтера Скотта «Айвенго». Но Мария Егоровна состояла в многолетней и прочной связи с приятелем Пушкина Н. С. Алексеевым, и поэт не однажды в прозе и в стихах отрекался от всяких видов на прекрасную Ревекку.

Сохранилось известие о другой еврейке — миловидной содержательнице одного из кишиневских трактиров. Весьма возможно, что стихи Пушкина относятся именно к ней. Никакого любовного чувства в точном смысле этого слова здесь, разумеется, не было и в помине, но, все же, женщина, облик которой мерещился поэту во время создания «Гавриилиады», по всем вероятиям, необычайно сильно действовала на его эротическую восприимчивость.

II

Летом 1823 года Пушкин, благодаря хлопотам А. И. Тургенева, получил новое служебное назначение: из захолустного Кишинева был переведен в шумную, многолюдную и кипевшую жизнью Одессу. Друзья поэта — Жуковский, Вяземский и Тургенев — надеялись, что перемена послужит ему на пользу.

Времяпрепровождение Пушкина в Кишиневе, разукрашенное к тому же молвою, внушало им немалую тревогу. Они стремились вырвать его из кишиневского омута и окружить другими влияниями. Особенно много надежд в этом смысле они возлагали на вновь назначенного новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова, который пользовался репутацией мецената и просвещенного вельможи.

Воронцов обещал Тургеневу взять Пушкина к себе с целью «спасти его нравственность и дать его таланту досуг и силу развиться». Именно эти выражения употребил он в беседе с Тургеневым.

Но надеждам друзей суждено было быть жестоко обманутыми. Поэт не ужился с вельможей. Пушкин провел в Одессе около года и оставил ее поневоле, после резкого столкновения с Воронцовым. С тех пор он всегда вспоминал о своем неудачливом меценате, да и вообще обо всех обстоятельствах своего одесского житья-бытья, с чувством величайшего желчного раздражения. Но нельзя отрицать, что, по крайней мере на первых порах, перемена обстановки была ему весьма приятна, и разлука с опостылевшим Кишиневом радовала несказанно. Одесса — город совсем молодой и едва начавший в то время развиваться — была все же гораздо культурнее молдавско-турецкого Кишинева, и жизнь складывалась здесь с несравненно большим разнообразием. Здесь имелись итальянская опера, хорошие рестораны, казино; сюда исправно доходили западно-европейские газеты и книжные новинки; здесь было много образованных и любезных семейств иностранных и полуиностранных купцов, а в доме Воронцовых открывался уголок настоящего большого света, столь любимого Пушкиным, несмотря на все разочарования и обидные удары по самолюбию, которые ему приходилось подчас выносить.

Ф. Ф. Вигель, В. И. Туманский и другие в своих воспоминаниях и переписке очень живо обрисовали физиономию тогдашней Одессы. «Город заметно буржуазный», — пишет о ней кн. П. Черкасский, а Туманский рассказывает: «Успев совершенно познакомиться с высшим и средним кругом здешнего общества, я смею наконец сказать о нем свое мнение. Начать с того, что оно, будучи составлено из каких-то отдельных лоскутков, чрезвычайно пестро и потому не представляет возможности скучать человеку просвещенному и наблюда-

тельному. Далее, что тон сего общества не хорош в том значении, в каком понимают это слово в столицах. Т. е., здесь нет некоторых особенных правил для обращения в свете, некоторых условных разговоров и даже условных наслаждений, при имени которых находит уже зевота. Большая часть нашего общества занята либо службою, либо торговлею и торговыми оборотами. Довольно этого одного обстоятельства, дабы почувствовать, что все они ищут в обществе отдохновения, а не нового труда. Следовательно, каждый поступает по своему, не принуждая себя к строгому порядку столичных гостиных… Наши деловые господа сообразуются с принятыми обыкновениями во всем, что требуется благопристойностью, только не в старании скучать самому себе и наскучать другим. Недостаток светского образования гораздо чувствительнее в светских дамах. Замужние наши женщины (выключая прекрасную и любезную госпожу Ризнич) дичатся людей, скрывая под личиной скромности или свою простоту, или свое невежество. Девушки в обхождении совсем не умеют стать на настоящую точку: одне дики или грубы; другие слишком веселы и слишком рано постигают вещи, которые не заботятся скрывать. Впрочем, в общей массе все это составляет вещь оригинальную и приятную… Конечно, девушка вольного обращения гораздо занимательнее дикой провинциальной барышни или безмолвной, жеманно-скромной дамы. Особливо гречанки меня утешают. Недавно еще покинув землю, где женский пол не имеет общественного существования, они вдруг хотят насладиться всею свободой оного… Некоторые из них очень пригожи и имеют прекрасные способности; но воспитание, воспитание!.. Не считаю нужным скреплять фамильными именами мое начертание одесских обществ. Какая охота знать, кто дурнее: княгиня Мурузи или девица Гик? Кто стройнее: хорошенькая ли Констанция Кирико или хорошенькая Софья Гипш? Кто милее: Елена или Зинаида Бларамберг?»

Пушкин еще во время своей службы в Кишиневе несколько раз наезжал в Одессу. Здесь у него отыскалось немало знакомых — старых и новых. Он быстро обжился на новом месте, стал завсегдатаем итальянского оперного театра и славной ресторации Оттона. Шумные забавы в холостой компании, отчасти напоминающие его столичные проказы, шли своим чередом: «У нас холодно, грязно, — сообщает он Ф. Ф. Вигелю в ноябре 1823 года, — обедаем славно. Я пью, как Лот Содомский, и жалею, что не имею с собою ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денек — я был президентом попойки; все перепились и потом поехали по…».

Год пребывания в Одессе весьма примечателен в истории сердечной жизни Пушкина. По некоторым признакам можно догадываться, что только в этом году окончательно просветлели и стали безболезненными столь мучительные прежде воспоминания северной любви. Правда, образ таинственной красавицы навсегда сохранился в памяти поэта, но уже не мешал ему жить и чувствовать со всею возможной полнотой. И первым следствием вновь обретенной свободы души были два пережитых в Одессе романических увлечения, которые оба принадлежат к числу наиболее серьезных, какие только случалось испытывать Пушкину. Можно, пожалуй, даже заметить, что слово «увлечение» является здесь недостаточным. Впервые со времени своей ссылки на юг Пушкин полюбил настоящей, большой любовью. И лишь немногим странным кажется то обстоятельство, что любовь эта в своем течении разделялась на два русла и предметом ее почти одновременно служили две женщины, не сходные ни по внешности, ни по характеру.

Возможность одновременной и даже, если угодно, одинаково сильной, но окрашенной в различные эмоциональные цвета любви к двум женщинам образует собою психологическую проблему, которую в отношении Пушкина сохранившиеся биографические документы позволяют лишь

поставить, но не разрешить окончательно. Конкретные факты, бывшие основой этого двойного романа, по большей части остались неизвестными. Характеры обеих героинь и окружавшая их житейская обстановка, относительно говоря, ясны для нас, но что касается последовательности событий и многих мелких, но существенно важных подробностей, то здесь в нашем распоряжении имеются сбивчивые, разноречивые показания современников, имевших к тому же возможность отмечать не столько определенные факты, сколько сплетни и слухи, — да свидетельство стихов Пушкина, свидетельство важное, это правда, но могущее во многих случаях подвергаться различным, далеко не бесспорным, толкованиям.

Имена Амалии и Элизы, мирно стоящие рядом в Донжуанском списке, определяют собою весь одесский период жизни Пушкина. Под первым из них должно разуметь Амалию Ризнич, жену богатого одесского коммерсанта, а под вторым — Елизавету Ксаверьевну Воронцову, супругу новороссийского генерал-губернатора.

Пушкин приблизительно в одно и то же время познакомился с ними обеими и почти одновременно расстался. Чувство к ним должно было развиваться в душе его параллельно, и Амалия Ризнич в лучшем случае имела небольшое преимущество во времени. Роман Пушкина с нею на несколько месяцев раньше начался и месяца на два раньше окончился (вследствие ее отъезда), нежели роман с Воронцовой. Такая одновременность заставляла, казалось бы, ожидать ревности и соперничества между двумя женщинами и тяжелой внутренней борьбы у Пушкина. В действительности, по-видимому, не было ни того, ни другого. По крайней мере, до нас не дошло ни малейших намеков на этот счет. Душа Пушкина предстает нам как бы разделенная на две половины, образует собою два почти независимых «я». Одно из этих пушкинских «я» любило Ризнич, а второе — было увлечено Воронцовой. Эти два чувства не смешивались и не вступали между собою в конфликт.

III

Иван Ризнич, по происхождению серб или, точнее говоря, иллириец, был весьма заметной фигурой в одесском коммерческом кругу. Он производил крупные операции с пшеницей — главным предметом одесской вывозной торговли, и занимался казенными подрядами. Однако деловые заботы не поглощали целиком его внимания. Человек образованный, учившийся в Болонском университете, меломан, не жалевший средств на поддержку одесской оперы, он отличался гостеприимством и любезностью. Его дом принадлежал к числу самых приятных в Одессе. Он женился в 1822 году в Вене, и весной 1823 года его молодая жена впервые приехала в Россию.

Профессор Ришельевского лицея К. П. Зеленецкий, писавший о пребывании Пушкина в Одессе, когда еще живы были устные предания, сообщает немало штрихов для характеристики Амалии Ризнич.

Она была дочерью австрийского банкира Риппа, полунемка и полуитальянка, быть может, с некоторой примесью еврейской крови. Она была высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно запомнились одесским старожилам ее огненные глаза, шея удивительной белизны и формы и черная коса более двух аршин длиною. Стоит, однако, отметить, что ступни ее ног были очень велики, и потому она всегда носила длинное платье, волочившееся по земле. Пушкин, как известно, питал особую слабость к красивым и стройным женским ножкам. Но, надо полагать, очарование прекрасной Амалии было так сильно, что он не замечал этого недостатка.

Г-жа Ризнич обычно ходила в мужской шляпе и в костюме для верховой езды. Подчеркнутая оригинальность одежды и манер («и, как кажется, другие обстоятельства», загадочно прибавляет Зеленецкий) лишили ее возможности появляться в доме Воронцовых, представлявшем собою аристократиче-

скую вершину тогдашнего одесского общества. Зато почти все мужчины, молодые и пожилые, принадлежавшие к высшему кругу, были постоянными гостями супругов Ризнич. Время проходило весело и шумно, в непрерывных званых обедах, собраниях и пикниках. Красавица-хозяйка пользовалась головокружительным успехом и была предводительницею во всех развлечениях. Муж оставался на втором плане.

Пушкин быстро поддался обаянию сирены и, по-видимому, сумел заслужить ее благосклонность. К несчастью, у него скоро отыскался серьезный соперник. То был богатый польский помещик Собаньский. Когда в мае 1824 года Амалия Ризнич вместе со своим маленьким сыном уехала в Италию, Собаньский последовал за нею. Некоторое время они прожили там вместе, но потом Собаньский бросил ее, и бедная Амалия умерла от чахотки, в крайней бедности, так как муж оставил ее без всякой поддержки. Приятель Пушкина В. И. Туманский, хорошо знавший Амалию Ризнич, написал сонет на ее смерть:

Ты на земле была любви подруга:
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо юга.
К твоим стопам с горячностию друга
Склонялся мир — твои оковы нес.
Но Гименей, как северный мороз,
Убил цветок полуденного луга.
И где ж теперь поклонников твоих
Блестящий рой? Где страстные рыданья?
Взгляни: к другим уж их влекут желанья,
Уж новый огнь волнует души их;
И Для тебя сей голос струн чужих —
Единственный завет воспоминанья.

Много лет спустя Иван Ризнич подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей семейной драмы сербскому ученому П. Е. Сречковичу, который в свою очередь поделился

воспоминаниями с харьковским профессором М. Г. Халанским. По словам Сречковича, «Ризнич внимательно следил за поведением своей жены, заботливо оберегая ее от падения. К ней был приставлен верный его слуга, который знал каждый шаг жены своего господина и обо всем доносил ему. Пушкин страстно привязался к г-же Ризнич. По образному выражению Ризнича, Пушкин увивался за нею, как котенок (по-сербски *као маче*), но взаимностью не пользовался: г-жа Ризнич была к нему равнодушна. Ненормальный образ жизни в Одессе вредно отразился на здоровье г-жи Ризнич. У нее обнаружились признаки чахотки, и она должна была уехать на родину, в Италию. За нею последовал во Флоренцию князь Яблоновский [так звали соперника Пушкина] и там успел добиться ее доверия… Г-жа Ризнич недолго прожила на родине: она скоро умерла; умер и ребенок от брака с Ризничем. Г-н Ризнич не отказывал ей в средствах во время жизни в Италии, и показание Зеленецкого, будто она умерла в нищете, призренная матерью мужа, неверно».

Такова эта вторая версия. Утверждению Ризнича, будто жена его осталась совершенно холодна к исканиям Пушкина, смело можно не давать веры: известно, что мужья в подобных случаях обычно узнают правду последними и, даже узнав наконец, все же склонны бывают в беседах с посторонними людьми отрицать ее, вопреки очевидности. Признания, заключающиеся в стихах поэта, совершенно определенны и не оставляют никаких сомнений насчет отнюдь не платонического характера его связи с одесской красавицей.

Нельзя, впрочем, не заметить, что стихотворными признаниями надо пользоваться с большой осторожностью. Цикл стихотворений, бесспорно, относящихся к Ризнич, не может считаться окончательно установленным, и многие недоумения из этой области, вероятно, никогда не будут полностью разрешены.

Старые комментаторы были в этом отношений весьма щедры и охотно относили к г-же Ризнич чуть ли не все

любовные стихи, писанные в Одессе и в первые годы после отъезда оттуда. П. Е. Щеголев, пересмотревший заново этот вопрос, напротив, выказал излишнюю придирчивость и ограничил цикл Ризнич всего двумя элегиями («Простишь ли мне ревнивые мечты» и «Под небом голубым страны своей родной») да двумя строфами из шестой главы «Евгения Онегина». Проделав подробный анализ этих стихов и дав на основании его определенную характеристику чувства, внушенного Пушкину Амалией Ризнич, Щеголев уверенно отвергает другие, позднейшие стихотворения, как не совпадающие с этой характеристикой. Он совершенно не принимает в расчет изменчивости и текучести душевных процессов, периодических приливов и отливов, постоянно совершающихся в эмоциональном мире человека. Щеголев словно стремится защитить Пушкина от обвинения в непоследовательности мыслей и чувств. Но как быть, если поэт сплошь да рядом действительно являлся непоследовательным?

Пушкин познакомился с Амалией Ризнич летом 1823 года. Более чем вероятно, что первая их встреча произошла в одесском оперном театре.

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемли критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как закипевшего Аи
Струя и брызги золотые…
А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет, и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
А муж в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит.

Как это всегда бывало с Пушкиным, любовь, а за нею ревность зародились с чрезвычайной быстротой. Л. С. Пушкин, описывая пребывание своего брата на юге, рассказывал, что «любовь предстала ему со всей заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты восторга и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал пять верст под 35 градусами жара».

Если приведенные строки намекают действительно на Амалию Ризнич, а не на какую-либо одесскую или кишиневскую даму, то приходится допустить, что роман Пушкина с «негоцианткой молодою» начался еще летом 1823 года, сейчас же после его приезда в Одессу, ибо 30 апреля следующего года, т. е. еще до начала летних жаров, г-жа Ризнич получила заграничный паспорт и вскоре навсегда покинула Россию.

Наиболее подробное описание этой любви содержится в известной элегии, созданной приблизительно в середине октября 1823 года:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?

Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда… друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор,
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?
Но я любим… Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

В черновом наброске соперник представлен еще рельефней:

А между тем соперник мой надменный,
Предательски тобою ободренный,
Везде, всегда преследует меня.
Он вечно тут, колена преклоня.
Являюсь я — бледнеет он (порой),

Иль иногда, предупрежденный мной,
Зачем тебя приветствует лукаво?

Чувство Пушкина к Амалии Ризнич было жестоко отравлено ревностью, которая казалась так остра и мучительна, что впоследствии, когда любовь угасла, память о пережитых страданиях не могла изгладиться. Описывая в шестой главе «Онегина» ревнивую вспышку Ленского, поэт вдруг вспомнил Ризнич.

Да, да, ведь ревности припадки –
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадки,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых!
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

За этой строфой следовало непосредственное обращение к красавице, которой в то время уже не было в живых:

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой;
Ты негой волновала кровь,

Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день;
Почий, мучительная тень!

Связь Пушкина с Ризнич длилась целую зиму и порвалась только с ее отъездом. В одном стихотворении 1830 года, которое Щеголев без достаточных, на наш взгляд, оснований, исключает из цикла стихов, посвященных Ризнич, содержится патетическое описание этой разлуки:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья,
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Амалия Ризнич скончалась в первой половине 1825 года. Но Пушкин, заключенный в Михайловском, узнал об этом только летом 1826 года. По-видимому, под свежим впечатлением от этого известия он написал вторую элегию, которую даже осторожный Щеголев уверенно связывает с именем Ризнич.

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала:

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной; легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Это стихотворение поэт напечатал среди пьес 1825 года (очевидно, потому, что в этом году случилось событие, его вызвавшее), но в рукописи, непосредственно за текстом стихов, имеются следующие пометы:

29 июля 1826 года
Усл. о см. 25
У. о. с. Р. П. М. К. Б. 24.

Первая строчка указывает на дату стихотворения, а вторая и третья могут быть расшифрованы таким образом: «услышал о смерти Ризнич 25 июля; услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 июля». Вожди декабристов были повешены 13 июля, но весть об этом достигла Псковской губернии только десять дней спустя. Таким образом, бедная, легковерная тень красавицы Амалии пронеслась перед умственным взором Пушкина как бы со свитой пяти других теней, трагических и зловещих, которым суждено было еще долго тревожить воображение поэта.

Осенью 1830 года, сидя в Болдине, отрезанный холерными карантинами и распутицей от всего остального мира, Пушкин вновь вспомнил умершую возлюбленную, иностранку, женщину, погибшую жертвой чьей-то злобы. Была ли этою женщиной г-жа Ризнич? П. Е. Щеголев сомневается в этом, и свое сомнение основывает на элегии 1826 года. В названной

элегии Пушкин признавался в странном и ему самому, не совсем понятном равнодушии к памяти Ризнич. Между тем стихотворения 1830 г. говорят о живом и сильном чувстве, не прекратившемся и после смерти любимой. Сверх того Пушкин, согласно своим собственным утверждениям, любил Ризнич страстной и чувственной любовью. А любовь, вспомнившаяся ему в 1830 году, кажется эфирной, одухотворенной и даже носит, по словам Щеголева, какой-то мистический отпечаток:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой,
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь, — но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда!

Форма этого стихотворения заимствована у английского поэта Барри Корнуоля и местами является весьма точным переводом его. Но автобиографическое значение его несомненно,

если сопоставить его с другими стихотворениями, написанными в том же Болдине. Приведенное несколько выше стихотворение «Разлука» оканчивается следующей строфой:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой, —
Исчез и поцелуй свиданья…
Но жду его: он — за тобой!

Наконец, в стихотворении «Прощание», датированном 5 октября 1830 года, Пушкин в таких словах обращается к тени умершей возлюбленной:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой,
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас;
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего.
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга,
Перед изгнанием его.

Можно ли вспоминать «с негой робкой и унылой» умершую женщину, которая при жизни внушала тяжелую и мучительную страсть? Щеголеву это представляется совершенно немыслимым, и он отказывается связать с именем Ризнич три элегии 1830 г.

Но мнение его едва ли может быть принято. Конечно, каждая любовь глубоко индивидуальна. Конечно, между чувственной страстью и одухотворенным, романтическим томлением разница весьма велика. Поэтому, если бы разобранные

нами стихи были написаны в один и тот же период времени, их, естественно, следовало бы относить к двум различным особам. Но на сей раз такой одновременности не было. Шесть с лишним лет миновало со времени страстных восторгов и ревнивых мучений, которыми Пушкин обязан был Амалии Ризнич. И сама она умерла, давно истлела в могиле, обратилась в туманный призрак воспоминания. Острота чувства притупилась, и само оно, это чувство, изменило свою природу. Был момент (в 1826 г.), когда оно казалось совсем угасшим. Но затем вновь воскресло накануне женитьбы, долженствовавшей, по мысли Пушкина, положить конец всем его сердечным блужданиям.

Можно ли удивляться, что теперь в стихах его, посвященных памяти Ризнич, появились совсем новые ноты, а в характеристику чувства включены были новые черты? Напротив, весьма странно было бы, если бы этого не случилось. Душевная жизнь Пушкина вообще лишена строгой последовательности. Он был человек настроения, человек в высшей степени впечатлительный и в своих внутренних переживаниях чрезвычайно сложный. Недопустимо ловить его на слове и как бы связывать раз навсегда однажды сделанными заявлениями. Если согласиться со Щеголевым, то надо будет предположить, что у Пушкина, кроме Амалии Ризнич, была другая возлюбленная — также иностранка, скончавшаяся за границей. Но об этой возлюбленной мы ничего не знаем, и измышлять ее нет никакой надобности…

IV

Навязывать Пушкину воображаемых возлюбленных тем более не следует, что возлюбленных живых, вполне реальных, было у него более, чем достаточно. В тот же самый одесский период, в ту же зиму 1823–1824 года, когда поэт увлекался Амалией Ризнич, он пережил другой роман. Незадолго до вынужденного отъезда на север им написана была ода «К морю».

Здесь, намекая на свои мечты о побеге, на свое намерение «взять потихоньку шляпу и отправиться посмотреть Константинополь», он говорит, обращаясь к океану:

Ты ждал, ты звал…
Я был окован,
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Щеголев правильно указывает, что названная могучая страсть не могла быть страстью к Ризнич. Прекрасная негоциантка незадолго перед тем выехала за границу, и любовь к ней должна была явиться побудительным мотивом, а не препятствием к побегу. Очевидно, в это время Пушкин любил, еще сильнее, чем Ризнич, другую женщину, остававшуюся в России.

Но кого именно?

Донжуанский список, воспоминания Вигеля и кое-какие другие, второстепенные указания позволяют почти с полною уверенностью ответить на этот вопрос: с поздней осени 1823 года Пушкин любил жену своего начальника, графиню Е. К. Воронцову.

Несколько лет тому назад в пушкинианской литературе был заявлен против графини до некоторой степени формальный отвод. М. О. Гершензон сделал попытку опровергнуть, если не самый факт увлечения Пушкина Воронцовой, то, во всяком случае, серьезность и значительность этого увлечения. В статье, озаглавленной «Пушкин и гр. Е. К. Воронцова», он пишет: «Итак, безусловно отвергая легенду (подразумевается — легенда, якобы вымышленная биографами, о глубокой и сильной любви Пушкина к графине. — *П. Г.*), я считаю возможным, исключительно на основании Донжуанского списка, утверждать только то, что Пушкин, долго ли, коротко ли, был влюблен в гр. Воронцову. Суще-

ствование каких-нибудь интимных отношений между ними приходится решительно отвергнуть».

Доводы, выдвинутые Гершензоном, не особенно убедительны. Правда, у нас нет никакого неоспоримого документального свидетельства для подтверждения «легенды». Но сопоставление сохранившихся данных позволяет нарисовать довольно правдоподобную картину отношений Пушкина к Воронцовой, отношений довольно сложных и не всегда ясных, это правда, но все же могущих быть представленными без преодоления тех психологических трудностей и мнимых противоречий, которые усиленно подчеркивает Гершензон. Напротив, приняв его аргументацию, мы наталкиваемся на трудности еще большие, и в конце концов вынуждены будем придумать для Пушкина еще одну возлюбленную, также жившую в Одессе, но совершенно не ведомую ни мемуаристам, ни биографам.

Соображений Гершензона мы коснемся попутно, когда речь пойдет о тех свидетельствах и указаниях, на которые он ссылается. Теперь же заметим, что о любви Пушкина к Воронцовой мы знаем, в сущности, ничуть не меньше, нежели об его любви к Ризнич. Ведь и относительно этой последней сохранились только сбивчивые и недостоверные рассказы да отметка в Донжуанском списке.

История любви Пушкина к Воронцовой, в том виде, в каком она ныне доступна для изучения, весьма напоминает аристократическую салонную комедию высокого стиля. Интрига комедии не всегда понятна для нас и в значительной своей части протекает как бы за кулисами. Зато характеры действующих лиц ничего не оставляют желать в смысле полноты и рельефности обрисовки.

На первом плане стоит, конечно, главный герой пьесы, т. е. сам Пушкин, искренний, великодушный, увлекающийся, доверчивый и безрассудный, при всем своем уме, как Чацкий или как Альцест. Он доживает последний год своей юности.

Всего несколько месяцев спустя он явится нам окончательно созревшим человеком. Но этого пока еще не случилось. Он способен весьма легко обманываться в людях, поддаваться чужому влиянию, строить иллюзии и попадать в расставляемые ему ловушки.

Героиня несравненно интереснее и симпатичнее Софьи или Селимены.

Елизавета Ксаверьевна, урожденная графиня Браницкая, была дочерью польского магната и одной из племянниц светлейшего князя Потемкина. Таким образом, она находилась в отдаленном родстве с семейством Раевских-Давыдовых.

Свою не совсем безупречную молодость старая графиня Браницкая искупала величавой чопорностью и даже ханжеством позднейших лет. В этой скучной обстановке прошли юные годы будущей супруги новороссийского генерал-губернатора. «Ей было уже за тридцать лет, — рассказывает Вигель, наблюдатель умный и проницательный, хорошо знавший семью Воронцовых, — а она имела все право казаться молоденькой. Долго, когда другим мог бы надоесть свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. С врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душой, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою, но быстрый, нежный взгляд ее миленьких, небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, подобной которой я не видал, казалось, так и призывает поцелуи».

Граф В. А. Соллогуб, познакомившийся с нею гораздо позже, когда она была на пороге старости, чувствовал, однако, ее обаяние. «Небольшого роста, тучная, с чертами немного крупными и неправильными, Елизавета Ксаверьевна была, тем не менее, одной из привлекательнейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою,

очаровательною женскою грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин и многие, многие другие без памяти влюблялись в Воронцову».

Выйдя в 1819 году замуж за графа М. С. Воронцова, Елизавета Ксаверьевна сделала, без сомнения, одну из самых блестящих по тогдашнему времени партий. Сын знаменитого екатерининского дипломата, воспитанный в Англии и потому привычками и вкусами своими больше напоминавший английского лорда, нежели русского генерала, Воронцов командовал русским оккупационным корпусом, расположенным во Франции. То были отборные войска, которые не стыдно было показать Европе, и поручение начальствовать над ними служило знаком особой доверенности государя.

Воронцов был человек просвещенный и, в хорошие минуты, даже благородный и великодушный по-своему. Но глубоко въевшиеся английские аристократические предрассудки, неприступная надменность и необычайно раздражительное самолюбие часто заставляли его забываться и совершать такие поступки, которые замарали его имя в глазах потомства, и которых, вероятно, он сам иногда стыдился в глубине души.

Брак, сочетавший Воронцова с Елизаветой Ксаверьевной Браницкой, был заключен по расчету. Сердце молодой графини вряд ли было затронуто. Муж не считал нужным хранить ей верность. Пушкин в своих письмах упоминает о волокитстве и любовных похождениях графа. И графиня, конечно, могла себя считать до известной степени свободною, тем более, что налицо был искуситель, способный рассеять ее колебания. Судьба Воронцовой в замужестве слегка напоминает судьбу Татьяны Лариной, но хрустальная чистота этого любимого создания пушкинской фантазии не досталась в удел графине.

Рассказывая о поездке Пушкина на Кавказ, мы уже называли имя Александра Николаевича Раевского. Этот старший

сын генерала близко сошелся с поэтом во время путешествия и позднее, в Каменке, и сразу ослепил его своим блестящим умом и своеобычным нравом. Холодный скептик, неспособный к энтузиазму и к увлечению, он подавлял пылкого Пушкина своей острой, всеразлагающей иронией, достойной Мефистофеля. Он действовал на него, как советник Мерк действовал когда-то на молодого Гете. Психологический портрет Раевского дан в стихотворении «Демон».

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия,
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь;
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимый клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Точно так же весьма вероятно, что беседами с Раевским навеяны известные строфы, где Пушкин рассказывает о своем личном знакомстве с Евгением Онегиным.

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей
На самом утре наших дней…
Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев меня в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Я стал взирать его очами.
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад.
Открыл я жизни бедной клад
Взамену прежних заблуждений,
Взамену веры и надежд
Для легкомысленных невежд.

Пушкин около двух лет находился под влиянием демона и даже терпеливо сносил его насмешки над своими произведениями — вольность, которую он не позволил бы никому другому. А. Н. Раевский более кого бы то ни было из своих современников мог послужить моделью для создания Евгения Онегина. Пушкин только что приступил к этому роману, когда в Одессе снова встретился со своим приятелем по Кавказу и по Каменке. Нет никакого сомнения, что он был очень обрадован. Но скрывать всякие проявления чувства было постоянным правилом Раевского.

…Каким же изумленьем,
Судите, был я поражен,
Когда ко мне явился он
Неприглашенным привиденьем;
Как громко ахнули друзья
И как обрадовался я!
Дань сердца, дружбы! — Глас натуры!
Взглянув друг на друга потом,
Как цицероновы авгуры,
Мы рассмеялися тишком.

Собой Раевский был очень некрасив, но наружность у него была оригинальная, невольно бросавшаяся в глаза и остававшаяся в памяти. Граф П. И. Капнист рассказывает об этом первообразе Онегина: «Высокий, худой, даже костлявый, с небольшой круглой и коротко обстриженной головой, с лицом темно-желтого цвета, с множеством морщин и складок, — он всегда (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение, чему, быть может, немало способствовал его очень широкий, с тонкими губами, рот. Он по обычаю двадцатых годов был всегда гладко выбрит и хотя носил очки, но они ничего не отнимали у его глаз, которые были очень характеристичны: маленькие, изжелта карие, они всегда блестели наблюдательно живым и смелым взглядом и напоминали глаза Вольтера».

Раевский состоял адъютантом при Воронцове во Франции и там имел возможность встречаться с графиней Елизаветой Ксаверьевной. Впрочем, нет сомнения, он знал ее и раньше, еще до замужества, ибо старая графиня Браницкая приходилась ему двоюродной бабкой. Но влюбился он только в 1820 году, когда гостил в имении Браницких — Белой Церкви. Любовь эта, затянувшаяся на несколько лет, исковеркала его жизнь. Ум и блестящие способности Раевского заставляли близких много ожидать от него. Но он не оправдал всеобщих ожиданий. Оставив в начале двадцатых годов службу по расстроенному здоровью, томимый бездельем и скукой, надменный бес

явился в Одессу по следам Воронцовой. Ф. Ф. Вигель, наблюдавший за ним глазами живейшей ненависти, так изображает его тогдашнее состояние: «В уме Раевского была твердость, но без всякого благородства. Голос имел он самый нежный. Не таким ли сладкогласием в Эдеме одарен был змий, когда соблазнял праматерь нашу… Я не буду входить в тайну связи его с *** (т. е. с Е. К. Воронцовой. — *П. Г.*). Но могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства. Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. Но как терзалось его ужасное сердце, имея всякий день перед глазами этого Воронцова, славою покрытого, этого счастливца, богача, которого вокруг него все превозносило, восхваляло… При уме у иных людей как мало бывает рассудка. У Раевского был он помрачен завистью, постыднейшею из страстей. В случае даже успеха какую пользу, какую честь мог он ожидать для себя? Без любви, с тайной яростью устремился он на сокрушение супружеского счастья Воронцовых. И что же? Как легкомысленная женщина, Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее обхождение с человеком, ей почти чуждым, его же стараниями истолковывается в худую сторону. Когда же ей открылась истина, она ужаснулась, возненавидела своего мнимого искусителя и первая потребовала от мужа, чтобы ему было отказано от дома… Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь миловидной Воронцовой, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта… Вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил в себе видеть поверенного и усердного помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его… Еще зимой (1823–1824 года. — *П. Г.*) чутьем я слышал опасность для Пушкина, не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому проис-

хождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго».

Предание о любви Пушкина к Воронцовой долго держалось в Одессе. Отголоском распространенных сплетен служит следующий не совсем правдоподобный анекдот, сохраненный одним из первых пушкинианцев, П. И. Бартеневым: «Перед каждым обедом [у Воронцовых], к которому собиралось по нескольку человек, хозяйка обходила гостей и говорила что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: что нынче дают в театре. Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце (что он делал особливо, когда отпускал свои остроты), с улыбкою сказал: "La sposa fidele, contessa!" Та отвернулась и воскликнула: "Quelle impertinence!" Слова эти были действительно довольно бестактным намеком молодого ревнивца на отношения графини к Раевскому».

М. О. Гершензон полагает, что первоначальным автором сплетен был не кто иной, как Вигель, оклеветавший Раевского. Нет спору, что злобствующий мемуарист легко мог извратить истину. Но дело в том, что рассказ его как нельзя лучше совпадает и с внешними событиями, нам известными, и с многочисленными намеками, вырвавшимися у лиц, близко знавших поэта, и со свидетельством стихов. Так, княгиня В. Ф. Вяземская, жившая в Одессе летом 1824 г., рассказывала впоследствии П. А. Плетневу об увлечении Пушкина Воронцовой. Сын Вяземских, князь Павел Петрович, много слышавший о Пушкине от своих родителей, сообщает, что причиною неистового гнева поэта против Воронцова было «паче всего одурачение ловеласа, подготовившего свое торжество».

Расстройство любовных планов Пушкина долго отзывалось черчением на черновых бумагах женского изящного римского профиля в элегантном классическом головном уборе с представительной рюшью на шее.

О том же говорит Анненков: «Предания той эпохи упоминают еще о женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про себя одного тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем бумагам из одесского периода его жизни».

Анненков, писавший еще при жизни Е. К. Воронцовой, ограничился этими недомолвками. Но из контекста совершенно ясно, что он не мог подразумевать никого иного, кроме графини. А Анненков, конечно, знал биографию Пушкина, как никто, и в его распоряжении были такие сведения, устные и документальные, которые нынче уже утрачены.

Наконец, если отвергнуть предположение о любви Пушкина к Воронцовой и вызванной этим ревности со стороны мужа, то не совсем понятным является эпизод высылки поэта из Одессы. Конечно, между Пушкиным и надменным графом, его принципалом, существовало роковое несоответствие характеров, которое должно было рано или поздно привести к столкновению. Воронцов был отнюдь не плохой начальник и, при случае, умел горой стоять за своих подчиненных. Но у него была тщеславная слабость, заставлявшая его требовать от военных и гражданских чинов службы не государству, а как бы лично ему, Воронцову, словно феодальному сюзерену. Так, он никогда не прощал тем из своих служащих, которые дерзали ходатайствовать о переводе. Опьяненный самолюбием, он домогался открыто выражаемой личной преданности и даже явной лести. Система фаворитизма, им усвоенная, расцвела впоследствии пышным цветом во время его управления на Кавказе. А у Пушкина вся кровь закипала в жилах при одной мысли о фаворе, прислужничестве и даже простом покровительстве. Приняв во внимание несомненный ум Воронцова, трудно допустить,

чтобы поверхностный и, в сущности, безобидный пушкинский либерализм в самом деле внушал ему серьезные опасения, но, конечно, оппозиционные выходки опального поэта-чиновника сильно раздражали гордого вельможу. Все это делало столкновение неизбежным. И однако, знакомясь с историей высылки во всех подробностях, мы с несомненностью убеждаемся, что Воронцов воистину вышел из границ и позволил себе в отношении Пушкина вещи, явно недопустимые даже по понятиям своего времени и своего круга. Его гнев на поэта должен был иметь какую-то глубоко скрытую и притом весьма серьезную причину, каковой, скорее всего, могла явиться ревность оскорбленного мужа.

Ревность назревала постепенно и последствия ее обнаружились весною 1824 года. Но поводы должны были существовать гораздо раньше, и о них мы можем только догадываться. Стихи Пушкина, написанные в 1823–1824 году, представляют собою как бы клочки картины, которая никогда не была закончена. Всматриваясь в эти клочки, мы замечаем порою отдельные детали, но целое ускользает от нас.

Наиболее ранним из стихотворных свидетельств является черновой набросок, приведенный Щеголевым и с большим трудом поддающийся прочтению:

желанием негой (нрзб)
Когда [любовию] и [щастьем] [утомленный]
Я на тебя гляжу коленопреклоненный
мне главу (нрзб) (нрзб) уста
И ты [мне] (нрзб) обнимешь, и (нрзб) в уста
[лечишь]

Дыханье жарких уст
[с любовию]
вливаешь
[И] [на глазах]
[И им]

[Цалуешь] поцелуем —
[За чем тогда] [мрачит?]
мы
[Мы] [ждем тоскуем]
Свое дыханье вливаешь
[ты дум] я
Щастлив ли [я]
Я не завидую богам

Этот отрывок, судя по положению его в черновой тетради, может быть датирован приблизительно декабрем 1823 года и, во всяком случае, не позже 8-го следующего февраля. Таково мнение П. Е. Щеголева, с которым, как с превосходным знатоком черновых рукописей Пушкина, в данном случае смело можно согласиться. В наброске нетрудно узнать первоначальную редакцию стихотворения «Желание славы», законченного только в 1825 году.

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя;
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного снега,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда… И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно; чтоб ты мною
Окружена была; чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне;
Чтоб гласу верному внимая в тишине,

Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

Характерно, что, сопоставляя черновой набросок с окончательной редакцией, мы имеем возможность заметить, как глаголы из настоящего времени переходят в прошедшее. Вместо «я на тебя гляжу» — «я на тебя глядел», вместо «ты обнимешь» — «руку на главу мне наложив, шептала ты»; вместо — «счастлив я» — «я наслаждением весь полон был» и т. д. Очевидно, какая-то перемена совершилась в отношениях между поэтом и его возлюбленной в промежутке между созданием чернового наброска и окончательной отделкой стихотворения. Настоящее стало прошлым. Влюбленным пришлось разлучиться. Внешние обстоятельства оказались сильнее их любви, и они вынуждены были покинуть друг друга. О расставании говорится и в другом отрывке, сохранившемся в одесской тетради Пушкина.

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени
Произношу я горестные пени.
Все кончено, я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану,
Тебя [роптанием] преследовать не буду
[И невозвратное], быть может, позабуду
[Я знал: не для меня] блаженство,
Не для меня сотворена любовь…
Ты молода, душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты…

Если допустить (с большой долей вероятия), что оба приведенные стихотворения, так же как и черновой набросок, относятся к Е. К. Воронцовой, то внутренняя история отношений ее к Пушкину предстает перед нами в следующем виде.

Поэт познакомился с графиней, вероятно, летом или осенью 1823 года и с тех пор часто появлялся в ее гостиной. Но первое время сердце его было еще всецело занято Амалией

Ризнич. Он страстно любил эту последнюю и, по своему обыкновению, необузданно ревновал. Так длилось до октября 1823 года, когда написана была элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты», и, быть может, даже несколько дольше. Но уже в декабре Пушкин обратил внимание на Воронцову, влюбился в нее и, если верить стихам, тогда же достиг взаимности. Между ними могли происходить свидания, конечно, изредка и украдкой. Пушкин еще не порвал с Амалией Ризнич, но она уже не царила единодержавно над его мыслями.

Любопытно, что около этого самого времени Пушкин обещал своим кишиневским приятельницам нарисовать какую-то m-me de Vor в восьми позах Аретина. Весьма вероятно, что под этими тремя первыми буквами он подразумевал ту же Е. К. Воронцову. И это не должно удивлять нас. Пушкин всегда был таков. Он всегда как бы принуждал себя к цинической усмешке немедленно вслед за минутами чистейшего лирического воодушевления. В самом себе он носил своего Мефистофеля.

Интимные отношения между Пушкиным и Воронцовой если и существовали, то, конечно, были окружены глубочайшею тайной. Даже Раевский, влюбленный в графиню и зорко следивший за нею, ничего не знал наверное и был вынужден ограничиваться смутными догадками. Но надо полагать, одних догадок было достаточно, чтобы переменить тактику. Он задумал устранить соперника, который начал казаться опасным, и для этого прибегнул к содействию мужа.

Теперь предоставим вновь слово Ф. Ф. Вигелю: «Несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернатора, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничто не могло быть для него унизительнее… Для отвращения сего добрейший Казначеев (правитель канцелярии генерал-губернатора. — *П. Г.*) медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене

приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет: куда тебе! Воронцов побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: "Если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельских отношениях, не упоминайте мне об этом мерзавце, — а через пять минут прибавил, — А также о его достойном друге Раевском". Последнее меня удивило и породило во мне много догадок. Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собой не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после, внушено было самим Раевским».

22 мая 1824 года Пушкин получил предписание отправиться в Херсонский, Елисаветградский и Александрийский уезды и собрать там сведения о ходе работ по истреблению саранчи. Решив — опять-таки якобы по наущению Раевского — испить чашу до дна, поэт поехал в командировку, но по возвращении послал вызывающе оскорбительное письмо своему гонителю. Он плохо отдавал себе отчет в своем положении и собирался хлопотать об отставке и даже о разрешении въезда в столицы. Но Воронцов предупредил его: он отправил к канцлеру Нессельроде письмо, чрезвычайно ловко и коварно написанное. Не обвиняя прямо Пушкина и даже обронив пару двусмысленных комплиментов по адресу его таланта, он дал поэту такую аттестацию, которая должна была окончательно очернить его в глазах правительства. Письмо это, мягкое по форме, явилось по существу настоящим доносом. Сюда же примешалось дело об атеизме Пушкина, засвидетельствованном выдержками из его собственного письма, адресованного в Петербург, и также попавшего в руки власть имущих, которые в то время были одержимы чрезмерной и весьма пугливой набожностью. Результатом всего этого было высочайшее повеление — об исключении Пушкина из службы и об отправке его в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства.

Можно думать, что еще прежде, чем отъезд Пушкина был окончательно решен, а может быть, даже еще до злополуч-

ной командировки, Пушкин и гр. Воронцова пришли к заключению о необходимости расторгнуть соединявшую их связь. Вероятно, инициатива этого решения исходила от графини, и Пушкин, скрепя сердце, должен был подчиниться. Прощание между ними произошло ночью, в саду, т. е., следовательно, весною или летом 1824 года. Незадолго перед этим Пушкин вынужден был также расстаться и с Амалией Ризнич, и хотя эта последняя любовь потеряла значительную долю своей былой мучительной напряженности, все же и эта разлука должна была глубоко взволновать его.

Очутившись под родительским кровом, в селе Михайловском-Зуеве, Пушкин написал 18 октября 1824 года стихотворение «Коварность», совершенно определенно подтверждающее рассказы Вигеля, хотя друг-предатель и не назван по имени.

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою;
Не говори: он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою;
Не говори: неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы не достоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон.
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах! Если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;

Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом,
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором,
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

В этих стихах заклеймен А. Н. Раевский, двуличное поведение которого было наконец разгадано Пушкиным. Можно даже предположить, что «Коварность» явилась поэтическим ответом на длинное французское письмо Раевского, посланное еще в августе из Александрии. Раевский пишет между прочим: «Вы были неправы, милый друг, не дав мне вашего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас на краю света, в Псковской губернии; вы сберегли бы для меня время, потраченное на поиски, и скорее получили бы мое письмо. Я испытываю действительную потребность написать к вам; нельзя провести безнаказанно столько времени вместе; не исчисляя всех причин, заставляющих меня питать к вам истинную дружбу, одной привычки достаточно, чтобы установить между нами прочную связь. Теперь, когда мы находимся так далеко друг от друга, я не хочу более вносить никаких оговорок в выражение чувств, которые питаю к вам. Знайте же, что, не говоря уже о вашем великом и прекрасном таланте, я давно испытываю к вам братскую дружбу, от которой меня не заставят отречься никакие житейские обстоятельства. Если после этого первого письма вы мне не ответите и не дадите мне вашего адреса, я буду продолжать писать и надоедать вам, пока не заставлю вас ответить…»

Сообщив далее в натянуто-шутливом тоне несколько одесских новостей, Раевский продолжает: «Теперь я буду говорить о Татьяне. Она приняла живейшее участие в постигшей вас беде; она поручила мне сказать вам это, и я пишу с ее ведома. Ее кроткая и добрая душа видит во всем совер-

шившемся только несправедливость, жертвою которой вы оказались; она высказала мне это с чувствительностью и грацией, свойственными характеру Татьяны. Ее очаровательная дочка тоже вспоминает вас и часто говорит со мною о сумасшедшем Пушкине и трости с головкой собаки, которую вы ей подарили… Прощайте. Ваш друг А. Раевский».

Это письмо, в котором с первых же строк чувствуется какая-то неловкость, затаенное сознание собственной неправоты, желание загладить ее и вновь восстановить пошатнувшиеся дружеские отношения, представляется Гершензону неоспоримым доказательством того, что Пушкин не подозревал измены Раевского и что вообще никакой измены не было. Но вряд ли можно с ним согласиться. Правда, дело не дошло до открытого разрыва, до объяснения начистоту между бывшими друзьями. Это последнее обстоятельство объясняется скорее всего тем, что (как явствует и из стихотворения «Коварность») Пушкин лишь подозревал предательство Раевского, но не был окончательно в нем убежден.

Все же он ничего не ответил на любезное послание старого приятеля. Протянутая рука повисла в воздухе, и язвительное молчание продолжалось.

Мы имеем право предполагать это, ибо в октябре месяце того же года кн. С. Г. Волконский также писал Пушкину, и письмо его дошло до нас. Будущий шурин А. Н. Раевского извещал о своей помолвке с сестрой последнего Марией Николаевной. В его письме встречаются следующие строки, ясно указывающие на неудовольствие, которое, — по предположению князя, — Пушкин должен был питать против Раевского: «Посылаю я вам письмо от Мельмота. Сожалею, что сам не имею возможности доставить оное и вам подтвердить о тех сплетнях, кои московские вертушки вам настряпали. Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он в природе ничего не благословлял; прежде я был с вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства дружбы — благородной и неизменной обстоятельствами».

Здесь интересно упоминание о московских сплетнях (может быть, намек на княгиню В. Ф. Вяземскую), которые, по догадке кн. Волконского, вызвали охлаждение Пушкина к Мельмоту, т. е. к тому же Раевскому. Сплетни могли касаться только неблаговидной роли демона в истории, повлекшей за собою удаление поэта из Одессы. Второе письмо Раевского нам неизвестно. Неизвестен и ответ Пушкина, если таковой последовал, что, впрочем, весьма маловероятно. И вообще, мы не находим никаких следов их дальнейшей переписки. Скучая в Михайловском, поднадзорный поэт писал много и охотно всем своим друзьям и близким: Л. С. Пушкину, кн. Вяземскому, барону Дельвигу, П. А. Плетневу, А. Г. Родзянко, Н. Н. Раевскому-младшему, но ни строчки не отправил тому, кто так долго был любимым героем его воображения.

Дружба резко оборвалась. Правда, Пушкин был незлопамятен. Узнав после 14 декабря об аресте Раевского, он взволновался и наводил справки об его судьбе. Гораздо позднее, уже в тридцатых годах, он встречал несколько раз начинавшего уже стареть Мельмота в Москве, и, по-видимому, между ними сохранились внешне приятельские отношения. Но уже ничто не могло вернуть тех дней, когда Пушкин в Пятигорске целыми часами беседовал со своим демоном, сидя на берегу Подкумка. Черная кошка пробежала между двумя друзьями, и без явной ссоры они тихо, но бесповоротно разошлись.

В приведенном выше письме А. Н. Раевского следует отметить упоминание о Татьяне: под Татьяной, несомненно, надлежит подразумевать Е. К. Воронцову, находившуюся в это время в Александрии, в гостях у матери. Итак, графиня не одобряла образа действий мужа и сочувствовала обиженному Пушкину. Раевский еще пользовался ее доверием, и она поручила ему послать привет изгнаннику.

Замечательно, что последние песни «Онегина», изображающие Татьяну Ларину в виде великосветской дамы, были еще не написаны, и дальнейший ход своего романа Пушкин

различал еще неясно, «как сквозь магический кристалл». Но основные черты характера Татьяны уже успели прочно установиться и были известны друзьям поэта и поверенным его творческих замыслов.

Пушкин далеко не сразу мог забыть Воронцову. На низких берегах Сороти его преследовало воспоминание о любви, зародившейся на солнечных берегах Черного моря. Имеются указания, не вполне, впрочем, достоверные, что между графиней и сосланным поэтом некоторое время поддерживалась переписка. Традиция связывает с именем Воронцовой многие лирические пьесы Пушкина. Таковы «Талисман», «Сожженное письмо» и «Ангел», в котором ангелу Воронцовой противопоставлен влюбленный демон — Раевский.

Известно, что Пушкин, будучи вполне свободомыслящим в религиозных вопросах, являлся вместе с тем весьма суеверным. В частности, он верил в магическую силу колец. Среди перстней, оставшихся после него, есть один, судя по работе, относящийся ко второй половине XVIII столетия, с вырезанной на нем древнееврейской (вероятно, караимской) надписью: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа-старца, да будет его память благословенна». Согласно преданию, это и был воспетый в общеизвестных стихах талисман против несчастной любви, подаренный Пушкину Воронцовой.

Роман А. Н. Раевского с Елизаветой Ксаверьевной имел после высылки Пушкина довольно длинное продолжение и эпилог, не совсем совпадающий с эпилогом «Евгения Онегина».

Во второй половине 1824 года Раевский, как мы видели, был еще близок к графине, и близость эта, по крайней мере одно время, имела весьма интимный характер. Но затем Е. К. Воронцова удалила его от себя. Арестованный в начале 1826 года по подозрению в причастности к заговору декабристов, Раевский, однако, вскоре был освобожден с извинениями, и, награжденный в качестве невинно потерпевшего званием камергера, воротился в Одессу. Но Воронцова избегала его. Он

терзался ипохондрией, стал чудить и позволять себе поступки, явно неприличные. Рассказывают, что в 1828 году он, с хлыстом в руках, остановил на улице экипаж графини и крикнул ей: «Заботьтесь хорошенько о наших детях» или, по другой версии — «о нашей дочери». Скандал получился невероятный. Воронцов снова вышел из себя и под влиянием гнева решился на шаг совершенно неслыханный: он, генерал-губернатор Новороссии — в качестве частного лица — подал одесскому полицеймейстеру жалобу на Раевского, не дающего прохода его жене.

Сохранился письменный отзыв Раевского на запрос полиции: «Вчерашнего числа вечером вы изволили приехать, чтобы прочитать мне просьбу, вам поданную графом Воронцовым, в которой, как частный человек, он требует от вас защиты за мнимые мои дерзости против почтеннейшей его супруги; в случае продолжения оных его сиятельство угрожает мне прибегнуть к высшей власти. На сие имею честь вам отвечать, что я ничего дерзкого не мог сказать ее сиятельству, и я не понимаю, что могло дать повод к такой небылице. Мне весьма прискорбно, что граф Воронцов вмешивает полицию в семейственные свои дела и через то дает им столь неприятную гласность. Я покажу более умеренности и чувства приличия, не распространяясь далее о таковом предмете. Что же касается до донесений холопий его сиятельства, то оные совершенно ложны».

Но Воронцов скоро опомнился. Сообразив, что официальная жалоба может сделать только его смешным, он поспешил прибегнуть к другому средству, уже употребленному с успехом против Пушкина. Мы не знаем, что именно доносил он в Петербург, но три недели спустя было получено высочайшее повеление о немедленной высылке Раевского в Полтаву, к отцу, «за разговоры против правительства и военных действий». Донос сделал свое дело, и живой Онегин был вынужден навсегда расстаться с подлинником Татьяны.

Глава пятая

I

Сильно запутавшийся в своих одесских связях и отношениях, недовольный собою и еще более недовольный другими, озлобленный на судьбу, которая продолжала преследовать его с непонятным ожесточением, замаранный выключкой из службы и отданный под гласный надзор гражданского и духовного начальства, прибыл Пушкин в Опочецкий уезд, в родительскую деревню, принадлежавшую некогда его предку Абраму Ганнибалу, арапу Петра Великого. На нем тяготела кара, наложенная по распоряжению самого государя, и этого одного было достаточно, чтобы сделать его жизнь под отчим кровом окончательно несносной. Мнительный и бесхарактерный Сергей Львович Пушкин устраивал сыну постоянные сцены, доводившие последнего до готовности просить о замене ссылки в деревню заключением в крепости. Так продолжалось до поздней осени 1824 года, когда семейство Пушкиных уехало в Петербург, оставив Александра одного в Михайловском.

Он зажил там совсем отшельником, по примеру своего Евгения, и не бывал ни у кого из соседей, за одним единственным исключением. Село Тригорское расположено в трех верстах от Михайловского-Зуева, и Пушкин с самого начала своего пребывания в Псковской губернии, сделался частым, порою ежедневным гостем тригорских помещиц.

Это было настоящее женское царство. Мужской элемент был представлен сыном хозяйки — дерптским студентом Алексеем Николаевичем Вульфом, который появлялся в Тригорском лишь во время летних и рождественских каникул. Зато барышень и молодых дам было сколько угодно.

Владелица поместья, двукратная вдова Прасковья Александровна Осипова, урожденная Вындомская, по первому мужу Вульф; ее дочери от первого брака — Анна Николаевна

и Евпраксия Николаевна; ее падчерица — Александра Ивановна Осипова, ее племянницы — Анна Ивановна Вульф и Анна Петровна Керн — таков был изменявшийся по временам состав этого женского кружка, если не считать обеих младших дочерей П. А. Осиповой, бывших еще совсем маленькими девочками.

«Не одна хозяйка Тригорского, искренне привязанная к Пушкину, следила за его жизнью, — повествует Анненков, собиравший сведения о поэте, когда следы его пребывания были еще совсем свежи в Псковской губернии, — С живописной площадки одного из горных выступов, на котором расположено было поместье, много глаз еще устремлялось на дорогу в Михайловское, видную с этого пункта, — и много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин: или пешком, в шляпе с большими полями и с толстой палкой в руке, или верхом на аргамаке, а то и просто на крестьянской лошаденке. Пусть же теперь читатель представит себе деревянный длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день с утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он плывет без оглядки вместе с нею. С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир».

Действительно, Пушкин в ту пору мог найти много для себя нового в нравах, понятиях и образе жизни этой типичной, среднедворянской провинциальной семьи. До сих пор

он жил в иной обстановке: его отрочество протекло в стенах Лицея; потом он кружился в большом петербургском свете, потом южная экзотика пленила его. Здесь, в северном захолустье, он обрел прежде неведомый ему строй чувств и жизненных отношений, более мягких, более лирических, лишенных, — как северная убогая природа, — того яркого, страстного колорита и того чувственного блеска, к которым он успел уже привыкнуть.

А он любил яркость и блеск, и эта сумеречная бледность и пейзажа, и жизни, протекавшей на фоне его, на первых порах должны были его раздражать. Но вскоре он поддался их тихому, своеобразному очарованию и на своей поэтической палитре нашел новые, нежные, прозрачные краски.

Все молодые женщины и девицы из Тригорского кокетничали с Пушкиным; некоторые серьезно влюбились в него. И он сам, по обыкновению своему, не замедлил влюбиться во всех понемногу. Не всегда легко бывает разобраться в запутанном клубке мелких шашней, сентиментальных увлечений, ревнивого соперничества и скрытой борьбы женских самолюбий, подвизавшихся на арене Тригорского. Нити интриг переплетались одна с другой, и некоторые из них протянулись довольно далеко за хронологические пределы пребывания поэта в Опочецком уезде. Если одесский период в жизни Пушкина рисовался нам в виде комедии в жанре мольеровского «Мизантропа» или грибоедовского «Горя от ума», история жизни в Михайловском должна естественно облечься в форму старинного семейного романа и даже, в значительной своей части, романа в письмах.

Вообще говоря, Пушкин был не особенно высокого мнения о псковских барышнях и дамах, с которыми имел случай впервые познакомиться еще в 1817 году.

Но ты, губерния Псковская,
Теплица юных дней моих,
Что может быть, страна пустая,
Несносней барышень твоих?

Меж ними нет, замечу кстати,
Ни тонкой вежливости знати,
Ни милой ветрености шлюх,
Но, уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство,
Фамильных шуток остроту,
Пороки зуб, нечистоту,
И неопрятность, и жеманство —
Но как простить им модный бред
И неуклюжий этикет.

И, однако, в конце концов он все простил и со всем примирился. Впрочем, приведенная строфа была продиктована сплином, ибо в действительности владелицы Тригорского были очень милы. Иначе, несмотря на всю скуку заточения, Пушкин вряд ли проводил бы так много времени в их обществе.

Имени Прасковьи не встречается в Донжуанском списке. Пушкин пожелал на сей раз быть безупречно скромным. Однако Прасковья Александровна могла бы занять там место, пожалуй, с большим правом, нежели дочь ее Евпраксия.

П. А. Осипова была старше Пушкина лет на пятнадцать. «Она, кажется, никогда не была хороша собой, — рассказывает одна из ее племянниц, — рост ниже среднего, гораздо, впрочем, в размерах; стан, выточенный, кругленький, очень приятный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы, волосы каштановые, мягкие, шелковистые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот ее только не нравился никому: он был не очень велик и не неприятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это ее портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность ее характера.

Она являлась всегда приятной, поэтически настроенной. Много читала и училась. Она знала языки: французский порядочно и немецкий хорошо. Любимое ее чтение когда-то был Клопшток».

В домашних отношениях Прасковья Александровна проявляла себя с довольно деспотической стороны: старших детей воспитала очень строго, хозяйством правила не особенно умело, но самовластно, а когда ревность или самолюбие ее бывали затронуты, оказывались способной к весьма крутым и решительным мерам.

Отношения Пушкина к П. А. Осиповой трудно выразить в какой-нибудь отчетливой формуле. Слишком многое остается недосказанным в дошедших до нас свидетельствах и документах. Многочисленные пробелы приходится дополнять с помощью догадок, по необходимости шатких и сомнительных. Однако воздержаться от этих догадок все-таки нельзя. Знакомство Пушкина с семьей Осиповых не было поверхностным и случайным. В течение довольно долгого и, с точки зрения биографа, весьма содержательного периода, жизнь поэта тесно переплеталась с жизнью хозяйки Тригорского и ее дочерей.

Об этих последних и об их отношениях к Пушкину представляется возможным говорить с несколько большей определенностью. Но и в этом случае далеко не все имевшее место в действительности нашло надлежащее отражение в дошедших до нас источниках и было, как следует, освещено биографической литературой. Потомство Осиповых и Вульфов (по женской линии) дожило в своих псковских и тверских вотчинах почти до наших дней. Культ Пушкина свято сохранялся в этом семействе. Исследователи, приезжавшие с целью посетить места, прославленные изгнанием поэта, обычно встречали радушный прием и всяческое содействие. Это было очень приятно и удобно, но зато налагало известные обязательства, вынуждало с чрезвычайной осторожностью касаться некоторых деликатных тем. Превосходно осведомленный, хотя поневоле сдержанный Анненков глухо говорит: «П. А. Осипова была женщина очень стойкого нрава и характера, но Пушкин имел на нее почти безграничное влияние».

Барышням Вульф он дает следующую характеристику: «Две старших дочери г-жи Осиповой от первого мужа — Анна и Евпраксия Николаевны Вульф — составляли два противоположные типа, отражение которых в Татьяне и Ольге “Онегина” не подлежит сомнению, хотя последние уже не носят на себе по действию творческой силы ни малейшего признака портретов с натуры, а возведены в общие типы русских женщин той эпохи. По отношению к Пушкину Анна Николаевна представляла, как и Татьяна по отношению к Онегину, полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли, между тем как сестра ее, “воздушная” Евпраксия, как отзывался о ней сам поэт, представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому, ничего не искала в ней, кроме удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний за собою и комплиментов, словно ждала чего-то более серьезного и дельного от судьбы. Многие называли кокетством все эти приемы, но кокетство или нет — манера была, во всяком случае, замечательно умного свойства. Евпраксия Николаевна была душою веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском; она играла перед ним арии Россини, мастерски варила жженку и являлась первою во всех предприятиях по части удовольствий… Вышло то, что обыкновенно выходит в таких случаях: на долю энтузиазма и самоотвержения пришлись суровые уроки, часто злое, отталкивающее слово, которые только изредка выкупались счастливыми минутами доверия и признательности, между тем как равнодушию оставалась лучшая доля постоянного внимания, неизменной ласки, тонкого и льстивого ухаживания».

В первые месяцы своего пребывания в Псковской губернии поэт не обращал особого внимания на тригорских соседок. Он жил мыслью об Одессе, и старые сердечные раны были еще слишком свежи. «Все, что напоминает море, печалит меня, — писал он кн. В. Ф. Вяземской в октябре 1824 го-

да, — шум фонтана причиняет мне буквально боль; я думаю, что прекрасное небо заставило бы меня плакать от бешенства. Но слава Богу: небо у нас сивое, а луна — точная репа… Я вижу только добрую старую соседку и слушаю ее патриархальные беседы; ее дочери, которые довольно дурны во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Я нахожусь в наилучшем положении, чтобы закончить мой поэтический роман; но скука — холодная муза, и поэма совсем не подвигается».

Вскоре он зачастил в Тригорское. В его письмах к брату то и дело попадаются упоминания о сестрах Вульф. По-видимому, Евпраксия первая привлекла к себе его внимание. Она одна из всей семьи попала в первую часть Донжуанского списка. Среди соседей начали уже поговаривать о скорой женитьбе Пушкина на Зизи Вульф. Слух этот был так прочен, что еще в тридцатых годах юная Н. Н. Пушкина ревновала мужа к Евпраксии Николаевне, в то время уже баронессе Вревской. Но во все время ссылки поэт еще и не помышлял о браке, а его увлечение младшей из барышень Вульф было совершенно невинное, ограничивавшееся безобидными шалостями.

«На днях мерялся поясом с Евпраксией, — писал Пушкин брату осенью 1824 года, — и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она — талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила…»

Талия Евпраксии Вульф удостоилась чести быть увековеченной в «Евгении Онегине». Там, описывая именинный обед у Лариных, Пушкин говорит о строе

Рюмок узких, длинных,
Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал…

Этим мимоходом брошенным замечанием ограничивается, в сущности говоря, отражение сестер Вульф в «Онегине», хотя они сами и их близкие думали иначе. Характер Татьяны в главных чертах был задуман поэтом еще в Одессе, и ее имя даже служило условным прозвищем для гр. Воронцовой. Если даже допустить, что кое-какие внешние черты Ольги могли быть списаны с Евпраксии Вульф, то сближать Анну Николаевну с Татьяной никак нельзя. Даже того поверхностного сходства положений, о котором говорит Анненков, здесь не было. Пушкин относился к Анете Вульф гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к влюбленной в него Татьяне.

Анне Николаевне шел двадцать пятый год, когда она встретилась с сосланным Пушкиным. Согласно понятиям того времени, она была уже почти старая дева. Она казалась не особенно хороша собой, была слезлива, сентиментальна и не очень умна. Но в душе ее хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Само собою разумеется, что она увлеклась Пушкиным. Если принять во внимание близкое соседство, частые встречи и однообразие деревенской жизни, это было как нельзя более естественно. К тому же судьба и характер Пушкина легко могли вскружить и более спокойную голову. Можно лишь удивляться, что это случилось все-таки не сразу.

В своих письмах 1824–26 годов Пушкин довольно часто говорит об Анне Николаевне Вульф, но почти всегда с подчеркнутым пренебрежением и недоброй насмешкой. «Anette очень смешна», — пишет он брату, — Анна Николаевна тебе кланяется и очень жалеет, что тебя здесь нет; потому что я влюбился и миртильничаю. Знаешь ее кузину Ал. Ив. Вульф? Ecce femina!» «Чем мне тебя попотчевать? — спрашивает он князя Вяземского, — Вот тебе мои бон-мо (ради соли, вообразим, что это было сказано чувствительной девушке лет 25): “Que c’est que le sentiment? Un suplement du temperament”.

— Что вам более нравится — запах розы или резеды? — Запах селедки».

Тон бесед, которые Пушкин вел с Анной Николаевной, полностью обнаруживается в письме, посланном им в июле 1825 года в Ригу, куда семейство Осиповых-Вульф уехало для купанья в море.

«Что ж, в Риге ли вы уже? Одерживаете ли вы победы? Скоро ли вы выйдете замуж? Нашли ли вы уланов? Донесите мне об этом с величайшими подробностями, ибо вы знаете, что, несмотря на мои дурные шутки, я истинно интересуюсь всем, что вас касается. Я хотел бы побранить вас, но на столь почтительном расстоянии у меня не хватает мужества. Что до морали и до советов, то вы их получите. Слушайте хорошенько: 1) во имя неба, будьте опрометчивы лишь с вашими друзьями (мужского пола), эти последние воспользуются вашей опрометчивостью только себе на пользу, тогда как подруги могут вам повредить; ибо запомните, что все они так же суетны и так же болтливы, как и вы сами; 2) носите короткие платья, ибо у вас очень красивые ноги, и не взбивайте волос на висках, если б даже это было в моде, так как вы имеете несчастье обладать круглым лицом; 3) вы стали очень осведомлены за последнее время, но не давайте этого заметить, и если какой-нибудь улан вам скажет, что с вами нездорово вальсировать, не смейтесь, не жеманьтесь, не подавайте виду, будто вы гордитесь этим; высморкайтесь, поверните голову и заговорите с другом; 4) не забудьте последнего издания Байрона.

Знаете ли, почему я хотел бранить вас? Нет? Коварная девушка, девушка без чувства и без и т. д. А ваши обещания, сдержали ли вы их? Ну, я не стану более говорить вам о них и прощаю вас, тем более что я сам вспомнил об этом лишь после вашего отъезда. Это странно — где же была моя голова? А теперь поговорим о другом».

Это письмо очень обидело Анну Николаевну. А между тем Пушкин позволял себе шутки и гораздо худшие. Так, например, к Анне Николаевне обращено стихотворение:

Увы, напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронут твердой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь расколет…
Она на щепочку…
Но и понюхать не позволит.

Эти стихи, невозможные полностью для печати ни при каком цензурном уставе, были, однако, известны женскому населению Тригорского, ибо их сохранил для нас второй муж А. П. Керн, который, не будучи лично знаком с Пушкиным, мог узнать их только от своей жены.

Назвав имя Анны Петровны Керн, мы неизбежно должны сделать отступление в сторону. Впрочем, к этому обязывает нас и хронологическая последовательность рассказа. Роман Пушкина с Анной Николаевной еще не успел начаться, когда, в середине лета 1825 года, ее красивая кузина появилась в Тригорском.

А. П. Керн интересна для биографов Пушкина по многим основаниям:

– она внушила поэту, правда, скоро преходящее, но необыкновенно пылкое и страстное чувство;

– ей посвящено одно из самых известных и прославленных лирических стихотворений его;

– она оставила весьма интересные воспоминания о Пушкине;

– до нас дошли его письма, адресованные к ней.

Последнее обстоятельство особенно важно. Пушкин писал ко многим женщинам, которых любил, но почти все они утаили от современников и потомства эту драгоценную корре-

спонденцию. А Керн заботливо сберегла ту часть, которая пришлась на ее долю. Живой голос поэта долетает до нас, и мы имеем возможность судить по этому, правда, почти единственному, но зато весьма яркому образчику, как говорил Пушкин с женщиной, которую любил и сердце которой желал покорить.

Нет никакой нужды приводить здесь стихи. «Я помню чудное мгновенье». Все знают их наизусть. Эта чудесная лирическая пьеса бессчетное число раз перекладывалась на музыку и потому, к несчастью, звучит нынче несколько пошло, как всякий чересчур популярный романс. Но комментарий к этим стихам неизбежно должен разрастись в особую главу из биографии Пушкина. И мы имеем возможность составить эту главу, пользуясь почти исключительно собственными словами А. П. Керн и самого поэта.

Воспоминания А. П. Керн о Пушкине в общем весьма правдивы и искренни; самое большее, она позволила себе кое-какие умолчания в наиболее щекотливых пунктах. Винить ее за это не приходится, тем более что внести соответственные поправки не представляет особого труда.

Анне Петровне Керн шел двадцать седьмой год, когда она приехала в Тригорское. В ее жизни уже имели место многочисленные увлечения и ошибки. Ореол скандала окружал ее голову.

Она родилась в Орле, в доме своего деда Ивана Петровича Вульфа. Ее мать, Екатерина Ивановна, приходилась сестрой первому мужу П. А. Осиповой и сама была замужем за Петром Марковичем Полторацким. Будущая m-me Керн получила довольно беспорядочное воспитание. Родные с материнской стороны лелеяли и баловали ее. Напротив, отец — человек беспокойный, самодур и прожектер, много мудрил над нею. «Батюшка начал воспитывать меня еще с пеленок, — рассказывала она впоследствии, — и много я натерпелась от его методы воспитания… Он был добр, великодушен, остроумен

по-вольтеровски, достаточно, по-тогдашнему, образован и весь проникнут учением энциклопедистов; но у него было много забористости и самонадеянности, побуждавших его к капризному своеволию над всеми окружающими. Оттого и обращение со мною доходило до нелепости».

Детство Анны Петровны прошло частью в Лубнах Полтавской губернии, где ее отец состоял уездным предводителем дворянства, частью в Бернове — тверском поместье Вульфов. Здесь, еще совсем маленькой девочкой, она познакомилась и очень близко сошлась с Прасковьей Александровной и с ее старшей дочерью Анетой Вульф, своей ровесницей. «Анна Николаевна не была так резка, как я, — вспоминала Анна Петровна, — она была серьезнее, расчетливее и гораздо меня прилежнее… Но я была горячее, даже великодушнее в наших дружеских излияниях».

За девочками ходила в течение нескольких лет одна и та же гувернантка — m-lle Бенуа, выписанная из Англии. «Родители мои и Анна Николаевна, — рассказывает А. П. Керн, — поручили нас в полное ее распоряжение. Никто не смел мешаться в ее дело, делать какие-либо замечания, нарушать покой ее учебных занятий с нами и тревожить ее в мирном приюте, в котором мы учились… Учение шло, разумеется, по-французски, и русскому языку мы учились только в течение шести недель, во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Мерчанский». Чтение романов рано сделалось любимым развлечением обеих девушек. «У нас была маленькая библиотека с г-жою Жанлис, Дюкре-Дюмениль и другими тогдашними писателями… Встречая в читанном скабрезные места, мы оставались к ним безучастны, так как эти места были нам непонятны. Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласно было с душевной нашей чистотой, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления».

Педагогическая система m-lle Бенуа дала достойные плоды. В Анне Николаевне Вульф безудержно развилась истерическая сентиментальность, а Анну Петровну инстинкты более здоровой и пылкой натуры увлекли впоследствии далеко по дороге галантных похождений.

В средине 1812 года П. М. Полторацкий взял дочь обратно к себе в Лубны. Здесь образование ее было совсем заброшено. «В Лубнах я прожила в родительском доме до замужества, учила братьев и сестер, мечтала в рощах и за книгами, танцевала на балах, выслушивала похвалы посторонних и порицания родных и вообще вела жизнь довольно пошлую, как и большинство провинциальных барышень. Батюшка продолжал быть строгим со мною, и я девушкой его так же боялась, как и в детстве».

Непосредственно из-под родительской ферулы Анна Петровна вышла замуж. Ей было тогда всего семнадцать лет; она не знала ни людей, ни жизни. Отец избрал для нее жениха, не спрашивая ее мнения и не заботясь об ее чувствах.

«Тогда стоял у нас Егерский полк, и офицеры его, и даже командир, старик Экельн, были моими поклонниками. Но родители мои не находили никого из них достойным меня. Но явился дивизионный генерал Керн — начальник дивизии, в которой состоял тот полк, — и родители нашли его достойным меня, стали поощрять его поклонение и старческие ухаживания, столь невыносимые, и сделались со мною ласковы. От любезничаний генеральских меня тошнило, я с трудом заставляла себя говорить с ним и быть учтивою, а родители все пели хвалы ему. Имея его в виду, они отказывали многим, искавшим моей руки, и ждали генеральского предложения с нетерпением. Ожидание их продолжалось недолго. Вскоре после знакомства генерал Керн прислал ко мне одну из живших у нас родственниц с просьбой выслушать его. Зная желание родителей, я отвечала ему, что готова его выслушать, но прошу только недолго и немного разговаривать.

Я знала, что судьба моя решена родителями, и не видела возможности изменить их решение. Передательницу генеральского желания я спросила: "А буду я его любить, когда сделаюсь его женой?" Она сказала: "да" — и ввела генерала. "Не противен ли я вам?" — спросил он меня и, получив в ответ: нет! — пошел к родителям и сделался моим женихом. Его поселили в нашем доме и заставили меня почаще быть с ним. Но я не могла преодолеть отвращения к нему и не умела скрыть этого. Он часто высказывал огорчение по этому поводу и раз написал на лежащей перед ним бумаге:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах…

Я прочла и сказала: "Старая песня!" — "Я покажу, что она будет не старая!" — вскричал он и хотел еще что-то продолжать, но я убежала. Меня за это сильно распекли. Батюшка сторожил меня, как евнух, ублажая в пользу противного генерала, и следил за всеми, кто мог открыть мне глаза на предстоявшее супружество. Он жестоко разругал мою компаньонку за то, что она говорила мне часто: "Несчастная", — и он это слышал. Он употреблял всевозможные старания, чтобы брак мой не расстроился, и старался увенчать его успехом. Я венчалась с Керном 8 января 1817 года в соборе. Все восхищались, многие завидовали. А я тут, кстати, замечу, что бивак и поле битвы не такие места, на которых вырабатываются мирные семейные достоинства, и что боевая жизнь не развивает тех чувств и мыслей, какие необходимы для семейного счастья».

Ермолай Федорович Керн был во всех отношениях не пара для своей юной жены. Ему стукнуло уже за пятьдесят. Типический строевой военный тех времен, настоящий полковник Скалозуб, счастливо дослужившийся до генеральского чина, он был неумен, грубоват и даже не добродушен. Семейная жизнь бедной Анны Петровны испортилась с пер-

вых же шагов, и даже рождение старшей дочери Екатерины не могло примирить ее с мужем.

Несколько месяцев спустя в жизни ее произошло знаменательное событие. Александр I, делавший в Полтаве смотр войскам, танцевал с нею на балу в дворянском собрании, сказал ей несколько комплиментов и приглашал приехать в Петербург. Император, знавший толк в женщинах, находил Анну Петровну очаровательной и сравнивал ее с королевой Луизой Прусской.

В течение двух последующих лет Анна Петровна довольно много разъезжала, побывала в Киеве, в Москве, в Липецке и в начале 1819 года попала в Петербург, куда муж ее, имевший неприятности по службе, отправился хлопотать перед начальством.

«Я приехала в Петербург, — рассказывает она, — с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что там не играли в карты; хотя там и не танцевали по причине траура при дворе, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в шарады.

На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посредине залы, мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего "Осла". И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес:

Осел был самых честных правил…

В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: "Et c'est sans doute monsieur, qui fera l'aspic". Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов... За ужином Пушкин уселся с братом позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: "Est il permis d'être aussi jolie!" Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: "Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела бы она попасть в ад?" Я отвечала серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. "Но как же ты теперь, Пушкин?" — спросил брат. "Je me ravise, — ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины..." Скоро ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мной в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами...»

Весной того же года Е. Ф. Керн получил служебное назначение в Дерпт. Жена должна была последовать за ним. Семейные отношения все более и более ухудшались. Бедная Анна Петровна томилась, скучала и тосковала. Еще в Лубнах она успела влюбиться в какого-то егерского офицера, которого в откровенных письмах к своей тетке Ф. П. Полторацкой она называла то L'Eglantine (шиповник), то Immortelle. С ним она встречалась всего несколько раз, но душу его сразу узнала «по глазам», и с тех пор он часто вспоминался ей. К тому же она вновь забеременела, что приводило ее в отчаяние. «Я и

прежде говорила, — пишет она тетке, которая по летам годилась ей в подруги, — что не хочу иметь детей: для меня ужасна была мысль не любить их и теперь еще ужасна! Вы также знаете, что сначала я очень желала иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но этого [т. е. ожидаемого ребенка] все небесные силы не заставят меня любить: по несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими силами не в состоянии от него избавиться».

В конце лета 1820 года Е. Ф. Керн был назначен начальником дивизии в Старый Быков, около Могилева. «Это будет очень близко от вас, — восклицает Анна Петровна, адресуясь к тетке, — но не знаю, почему это меня не радует… Я чувствую, что не буду истинно счастлива, как только тогда, когда я буду в состоянии законным образом отдать ему [т. е. Immortelle] мою любовь; иначе самое его присутствие не сделает меня счастливою, как только наполовину. Все поздравляют моего дорогого муженька, и он сказал мне, что мы поедем к дивизии к 1 сентября; оттуда он отправится в Петербург, а я, если вы мне позволите, приеду к вам… Я думаю, что со мною ничего счастливого уже случиться не может, и потому сначала эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия, а теперь, обдумав, вижу, что в сентябре могу вас обнять и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения».

«Что может быть горестнее моего положения? — жалуется она в одном из следующих писем, — Не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я! Сам Всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам… К умножению моих печалей, вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас отраду в удовольствии вашем меня видеть. Я уже вам сказывала, что не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и

маменька столько имели удовольствия меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них, и хотя этим вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними.

Маменька с своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моём положении: пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежно любимым мужем; с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойною и приятною. Возьмите теперь противоположность моего состояния: с таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои, оставлена всею природою, с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал отпустить меня к вам по усиленным просьбам моим вскоре по приезде в Старый Быков — теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург, что не прежде будет, как в конце октября. Ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе и как потом я в холод и колоть поеду в октябре, но я настою, чтобы ехать, как прежде сказано, и ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть оной, хотя для тех, которым моя жизнь и благополучие еще дороги. Впрочем, это последнее время совсем заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу. Вот состояние моего сердца».

В конце концов Анне Петровне удалось-таки вырваться от мужа и переехать к родителям и в Лубны. Она провела в Полтавской губернии несколько лет. Мы не знаем, пришлось ли ей сблизиться с ее Immortell'ем, но в 1824 году она явно для всех уже была возлюбленной Аркадия Гавриловича Родзянко, полтавского помещика, эротического поэта и приятеля Пушкина.

А. Г. Родзянко служил в молодости на военной службе, в гвардии, и имел случай познакомиться с Пушкиным в Пе-

тербурге. Одно время их отношения грозили испортиться, и в 1820 году, незадолго до ссылки поэта, Родзянко написал на него эпиграмму, отзывавшуюся политическим доносом. Но к 1824 году все эти старые счеты были уже позабыты. Родзянко — стихотворец весьма посредственный — был усердным поклонником таланта Пушкина и сообщил свой энтузиазм Анне Петровне, которая с замирающим сердцем читала «Кавказского Пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев разбойников» и I главу «Евгения Онегина». Кроме того, Анна Петровна аккуратно переписывалась с Анной Николаевной Вульф и от нее узнала о приезде Пушкина в Михайловское. Немного спустя Анна Николаевна сообщила своей кузине, что Пушкин до сих пор помнит встречу в доме Олениных, которая оставила в нем глубокое впечатление. Таким образом, мимолетно завязавшееся знакомство возобновилось, на первых порах еще заочно.

Вскоре Родзянко послал Пушкину поклон через ту же Анну Николаевну. Поэт в виде ответа отправил ему следующее письмо:

«Милый Родзянко, твой поклон меня обрадовал; не решишься ли ты, так как ты обо мне вспомнил, написать мне несколько строчек? Они бы утешили мое одиночество.

Объясни мне милый, что такое А. П. К…, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь — но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый: напиши на это все элегию или хоть эпиграмму.

Полно врать. Поговорим о поэзии, т. е. о твоей. Что твоя романтическая поэма Чуп? Злодей! Не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры хоть на меня, но не перебивай мне мою романтическую лавочку. Кстати, Баратынский написал поэму (не прогневайся, про Чухонку) и эта чухонка, говорят,

чудо как мила. — А я про Цыганку; каков? Подай же нам скорей свою Чупку — ай да Парнас! Ай да героини! Ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Итальянку? Чем их хуже Чухонка или Цыганка?.. Одна-… т. е. оживи лучом вдохновения и славы.

Если А. П. так же мила, как сказывают, то верно она моего мнения: справься с нею об этом»[6].

Немало времени понадобилось тяжелому на подъем Родзянке, чтобы раскачаться для ответа, да и то Анна Петровна должна была побудить его. Письмо к Пушкину от 10 мая 1825 года написали они вместе: «Виноват, сто раз виноват пред тобой, любезный, дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая три месяца на твое неожиданное и приятнейшее письмо. Излагать причины моего молчания и не нужно и лишне: лень моя главною тому причиною, и ты знаешь, что она никогда не переменится, хотя Анна Петровна ужасно как моет за это выражение мою грешную головушку, но, невзирая на твое хорошее мнение о моих различных способностях, я становлюсь в тупик в некоторых вещах, и, во-первых, в ответе к тебе. Но сделай милость, не давай воли своему воображению и не делай общее моей неодолимой лени, скромность моя и молчание в некоторых случаях должны стоять вместе обвинителями и защитниками ее. Я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени, я постояннее всех Амадисов, и польских, и русских. Итак, одна трудность перемены и искренность моей привязанности составляют мою добродетель: следовательно, говорит Анна Петровна, немного стоит добродетель ваша, а она соблюдает молчание — знак согласия, и справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так

[6] Письмо было передано Анне Николаевне, для пересылки в Лубны, незапечатанным, и она, конечно, не удержалась и прочитала его и даже сочла своим долгом собственноручно зачеркнуть неприличную фразу, после чего отправила письмо по назначению.

клепать на меня? За какие проказы? За какие шалости? Но довольно, пора говорить о литературе с тобой, нашим Корифеем».

Далее рукою А. П. Керн, в середине письма: «Ей богу, он ничего не хочет и не намерен вам сказать (Насилу упросила). Если бы вы знали, чего мне это стоило! Самой безделки: придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать: пишите. Да спросите, сколько раз повторить это должно было. Repetitio est mater studiorum».

«Зачем же во всем требуют уроков, а еще более повторений? — продолжает Родзянко, — Жалуюсь тебе как новому Оберону: отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияния на ее, нежели я со всем моим присутствием. Письмо твое меня гораздо более поддерживает, нежели все мое красноречие».

Рукою А. П. Керн: "Je vous proteste qu'il n'est pas dans mes fers…"

«А чья вина? Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем: снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью, а теперь чем? Ради бога, будь посредником».

Рукою А. П. Керн: «Ей-богу, я этих строк не читала!»

«Но заставила их прочесть себе 10 раз. Тем-то Анна Петровна и очаровательнее, что со всем умом и чувствительностью образованной женщины она изобилует такими детскими хитростями. Но прощай, люблю тебя и удивляюсь твоему гению и восклицаю:

О, Пушкин, мот и расточитель
Даров поэзии святой,
И молодежи удалой
Гиерофант и просветитель,
Любезный женщинам творец,
Певец Разбойников, Цыганов,
Безумцев, рыцарей, Русланов,
Скажи, чего ты не певец?

Моя поэма "Чуйка" скончалась на тех отрывках, что я тебе читал, а две новые сатиры пошлю в марте напечатать. Аркадий Родзянко».

Пушкин ответил стихами, как с ним часто случалось, когда он писал к поэтам. Мы не знаем, были ли отосланы эти стихи к Родзянке. Анна Петровна получила их из рук самого Пушкина в Тригорском.

Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны,
А пишешь лишь о ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны.
Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной;
Поговорим опять о ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей…
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа…
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.

Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!

Общий тон и письма Пушкина, и приведенного стихотворения довольно нескромны. Об А. П. Керн он говорит словами, не показывающими особенного уважения к ней. В его глазах это была молоденькая, хорошенькая генеральша, полуразведенная жена смешного и старого мужа, легкая, почти бесспорная добыча первого встречного обольстителя. Но вот Анна Петровна появилась перед ним воочию, и перемена наступила с волшебной быстротой. Воображение вспыхнуло и осветило женщину всем блеском своих многоцветных огней, похожих на огни фейерверка. Гений чистой красоты проглянул под довольно банальными чертами легкомысленной барыни. Это преображение длилось очень недолго, и огни вскоре погасли, распространяя дым и копоть. Но в течение нескольких месяцев поэт находился всецело под обаянием — если не Анны Петровны — то того образа ее, который он сам себе создал.

III

А. П. Керн приехала в Псковскую губернию в середине июня. Она начала тяготиться своим двусмысленным положением и готова была при помощи родственников сделать первый шаг к сближению с мужем, который, с своей стороны, ничего лучшего не желал.

Прибытие ее в Тригорское явилось для поэта неожиданностью, хотя какое-то предчувствие подсказывало ему, что его ожидает нечто приятное. Ольга Сергеевна Пушкина рассказывала впоследствии сыну, что у брата ее чесался левый глаз, сильно билось сердце и бросало то в жар, то в озноб, когда, в один прекрасный день, он отправился в Тригорское.

Далее пусть говорит сама Анна Петровна.

«Мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного господина, Рокотова, повторявшего беспрестанно: “Pardonnez ma franchise; je tiens beaucoup a votre opinion”.

Вдруг вошел Пушкин с большою, толстою палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол, он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками chien-loup. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила; он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили…»

Любопытную черту представляет собою эта робость, внезапно проявленная двадцатишестилетним, бывалым и многоопытным Пушкиным. Современный биограф имеет право не быть так доверчив, как простодушная Анна Петровна, постоянно попадавшаяся в ловушки, расставляемые ей мужчинами. План правильной осады, которую надлежало начать против новой посетительницы Тригорского, мог создаться у Пушкина еще раньше, во время его переписки с Родзянкой. Показная робость первых шагов была испытанным средством традиционной любовной стратегии. Вальмон из «Опасных связей», начиная свою кампанию против г-жи Турвель, тоже прикидывается застенчивым и боязливым. Сверх того, в данном случае, Пушкин, так хорошо знавший женский нрав, должен был понимать, что Анну Петровну, побывавшую в школе А. Г. Родзянки, а также, вероятно, и других господ того же склада, мудрено было поразить дерзостью и бесцеремонностью. Недостаток внешней почтительности мог даже возмутить и обидеть ее, как намек на ее не совсем безупречную репутацию.

По всем этим причинам мы не особенно склонны верить непривычной застенчивости Пушкина. Но целиком и без всяких оговорок стать на эту точку зрения также нельзя. Он действительно любил А. П. Керн, правда, недолго, но сильно. Она была уже не так хороша собою, как в юные годы, но, по-

видимому, ей свойственна была особенная, томная и чувственная грация, от которой неизменно кружились все мужские головы. И любовь в сердце Пушкина, как это с ним часто бывало, должна была загореться сразу, в первую же минуту этого нечаянного свидания в столовой Тригорской усадьбы. Впечатление от встречи в 1819 году, оживленное перепиской с Родзянкой, вдруг соединилось с этим новым и, по внезапности своей, тем более сильным впечатлением. Нахлынули желания, туманившие мозг, и расчетливый донжуан обратился на минуту в неловкого, объятого замешательством влюбленного.

С этой встречи, в течение месяца с лишком, они виделись почти каждый день. Оправившийся от своей действительной или мнимой неловкости Пушкин рассыпал перед восхищенной Анной Петровной блестящие каскады своего остроумия и любезности. Все же главным средством обольщения для него был его поэтический талант, и он не преминул им воспользоваться. «Однажды, — продолжает свой рассказ А. П. Керн, — явился он в Тригорское со своей большою, черною книгой, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих "Цыган". Впервые мы слушали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения… Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому — и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном, сестра [Анна Николаевна Вульф], Пушкин и я — в другом. Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил: "J'aime la lune, quand elle éclaire un beau visage".

Хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад,

Приют задумчивых дриад, с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника — вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: “Mon cher Pouchkine, faîtes les honneurs de votre jardin a madame”. Он быстро подал мне руку и побежал скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: “Vous aviez un air si virginal; n’est ce pas, que vous aviez sur vous quelque chose, comme une croix”. На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою — Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр II главы “Онегина”, в неразрезанных листках, между которыми я нашла вчетверо сложенный лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье
и проч.

Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него мелькнуло тогда в голове — не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих “Северных цветах”. Мих. Ив. Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой.
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной… и проч.

Мы пели этот романс Козлова на голос Benedetta sia la madre — баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: "Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его 'Венецианскую ночь' на голос гондольерского речитатива; я обещал о том известить милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность; по крайней мере, дай бог ему ее слышать. Questo e scritto in presenza della donna, come ognun puo veder"».

Пушкин уже весь пылал страстью, и немногого не хватало, чтобы пламя это сообщилось Анне Петровне. Но тут поджидал его (а может быть, отчасти и ее) весьма неприятный сюрприз: в дело вмешалась Прасковья Александровна Осипова и настояла на немедленном отъезде всего семейства, вместе с Анной Петровной, в Ригу. Анненков говорит, что Прасковья Александровна увезла племянницу «во избежание катастрофы». Прогулка, о которой повествует Анна Петровна, состоялась 18 июля, а 19-го обитательницы Тригорского двинулись в путь.

Прасковья Александровна, конечно, хотела прекратить соблазн, охранить устои нравственности и приличий. Но это ли было главным мотивом ее поступков? И сам Пушкин, и Анна Петровна, и Анна Николаевна Вульф сомневались в этом и, кажется, были правы: Прасковья Александровна ревновала и пользовалась случаем устранить молодую и обольстительную соперницу. Моральные соображения давали для того весьма удобный предлог.

За предыдущие месяцы в сношениях между Михайловским и Тригорским, поскольку они нам известны, не проскользнуло ничего, позволяющего заподозрить излишне нежные чувства П. А. Осиповой к ссыльному поэту. Переписки за это время между ними не было, а все лица, посвященные в тайну, буде таковые имелись, хранили молчание.

В марте 1825 года Прасковья Александровна записывала у себя в месяцеслове:

«По висту должен мне

П.	1 р. 50 к.;	я ему — 20 к.
еще	1.70…	10
	1.80…	–
	–	70»

Пушкин играл в вист гораздо хуже и менее счастливо, нежели тригорская барыня; это с несомненностью явствует из приведенной записи. Но предположить на основании ее о возможности каких-нибудь романических отношений между партнерами, разумеется, нельзя. Перед нами идиллическая, невинная, несколько даже сонная картина помещичьей жизни в деревенской глуши. И вот внезапно ревнивая вспышка, происшедшая в июле того же года, озаряет эту картину совершенно новым светом.

Прасковья Александровна, бесспорно, имела причину ревновать: Пушкин действительно увлекался Анной Петровной Керн. Но было *ли* у П. А. Осиповой хоть какое-нибудь право на это? Иначе говоря, остались *ли* ее отношения с Пушкиным в границах обыкновенного доброго знакомства, или проникло сюда уже какое-нибудь более интимное начало? Вопросу этому, вероятно, суждено навсегда остаться без ответа. Прасковья Александровна, если пренебречь понятиями того времени, была еще далеко не старуха. По-видимому, она хорошо сохранилась физически и — что еще важнее — сберегла душевную молодость. По женской линии она происходила из рода Ганнибалов. Значит, в жилах ее бунтовала та же горячая, неукротимая африканская кровь, что и у Пушкина. А поэт, томимый скукой заточения и отрезанный почти от всего мира, не мог быть особенно взыскателен. Кроме того, роман с Прасковьей Александровной представлял для него одно важное преимущество: создавалась надежная гарантия, что его не женят в конце концов на одной из барышень Вульф — перспектива, которой он, кажется, очень побаивался в глубине души.

19-го числа Прасковья Александровна уехала вместе с племянницей и старшей дочерью. Сын должен был вскоре последовать за нею. Пушкина ожидало довольно продолжительное одиночество. По старой памяти он часто наведывался в Тригорское и обо всем виденном там аккуратно осведомлял отсутствующую хозяйку имения. Его письма к Прасковье Александровне очень почтительны и даже церемонны. Однажды он позволил завести речь об Анне Петровне: «Хотите знать, что такое m-me Керн? У нее гибкий ум; она все понимает; она легко огорчается и так же легко утешается; она застенчива в манерах, смела в поступках, но чрезвычайно привлекательна».

Видимо, ему смертельно хотелось поговорить с кем-либо о предмете своего нового увлечения. Но с Прасковьей Александровной можно было касаться этой темы лишь весьма осторожно. Поэтому он избрал себе более подходящую конфидентку в лице Анны Николаевны Вульф.

Часть его письма, посланного всего два дня спустя после отъезда Анны Николаевны из Тригорского, мы уже приводили. Но эти небрежные, насмешливые строки служили только вступлением. В сущности же письмо было написано для А. Керн, которой — он это знал — ее чувствительная кузина непременно покажет послание из Михайловского.

«Все Тригорское поет: не мила ей прелесть ночи, и у меня от этого сжимается сердце; вчера Алексей и я говорили 4 часа подряд. Никогда у нас еще не было такой долгой беседы. Угадайте, что нас вдруг так соединило? Скука? Сходство наших чувств? Не знаю, право. Каждую ночь я прогуливаюсь у себя по саду; я повторяю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе возле увядшего гелиотропа[7]. Я пишу много стихов — все это, если угодно,

---

[7] Никакого не было камня в саду, а споткнулась я о переплетенные корни дерев. Веточку гелиотропа Пушкин точно выпросил у меня. — *Примеч. Керн*.

очень похоже на любовь, но, клянусь вам, что никакой любви нет. Если б я был влюблен, то в воскресенье со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности, а я был только слегка уколот[8]… И однако мысль, что я для нее ничто, что, пробудив и заняв ее воображение, я только потешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее более рассеянной среди ее триумфов, ни более мрачной в дни печали; что ее прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же выражением, мучительным и сладострастным — нет, эта мысль для меня нестерпима; скажите ей, что я от этого умру; нет, не говорите ей этого: она будет смеяться над этим, восхитительное создание! Но скажите ей, что если в ее сердце нет ко мне тайной нежности, меланхолического, таинственного влечения, то я ее презираю, слышите ли?

Да, я ее презираю, несмотря на все удивление, которое должно у нее вызвать это чувство, столь для нее новое.

Прощайте, баронесса(?), примите изъявления преданности от вашего прозаического обожателя.

P. S. Пришлите мне обещанный рецепт. Я столько проделал фарсов, что не могу продолжать — проклятое посещение, проклятый отъезд»

Пушкин любил и, следственно, ревновал. Таков уж был его обычай. Ближайшим предметом его ревности явился Алексей Вульф, который пока оставался в Тригорском, но в скором времени должен был выехать в Ригу. Ревность не была в данном случае вполне безосновательной, ибо Вульф уже начал ухаживать за своею двоюродной сестрой и успел произвести на нее некоторое впечатление. Еще больше страшили его новые знакомства, которые ожидали Анну Петровну в Риге. Немного утешало его то обстоятельство, что генерал Керн должен был встретиться там с женой. Старый, неинте-

---

[8] Ему было досадно, что брат поехал провожать сестру свою и сел вместе с нами в карету. — *Примеч. Керн.*

ресный муж казался безопаснее юного поклонника, и в то же время присутствие его было все же некоторой порукой безопасности для ревнивца.

25 июля он вновь отправил целых два письма в Ригу. Одно из них предназначалось П. А. Осиповой и другое самой А. П. Керн. Интересно сопоставить два эти письма.

«…Надеюсь, — писал Пушкин П. А. Осиповой, — что вы весело и счастливо прибыли в Ригу. Мои петербургские друзья были убеждены, что я буду вас сопровождать. Плетнев сообщает мне довольно странную новость: решение Е. В. показалось им основанным на недоразумении, и потому решено вновь поговорить с ним об этом. Мои друзья так стараются, что дело кончится моим заключением в Шлиссельбурге, где, конечно, у меня не будет по соседству Тригорского, которое, при всей его теперешней пустоте, все же служит для меня утешением.

Я нетерпеливо жду новостей от вас; пришлите их мне, умоляю вас об этом. Не говорю вам ни о моей почтительнейшей дружбе, ни о моей вечной признательности и приветствую вас от всей глубины моей души».

Чувства почтительной дружбы и вечной признательности предназначались Прасковье Александровне, но любовь досталась в удел А. П. Керн. Вероятно, Пушкин потому так жаждал получить новости из Риги, что надеялся узнать хоть стороною что-нибудь относящееся до Анны Петровны. Но не будучи в силах обуздать свое нетерпение, он в тот же день написал ей самой.

«Я имел слабость попросить позволения писать к вам, и вы — легкомыслие или кокетство позволить это. Переписка ни к чему не ведет, я это знаю, но я не имею силы противостоять желанию получить хоть слово, написанное вашей красивой ручкой.

Ваш приезд оставил во мне впечатление более сильное и более мучительное, нежели то, которое произвела некогда

наша встреча у Оленина. Самое лучшее, что я могу сделать в глуши моей печальной деревни, — это постараться не думать более о вас. Вы должны были бы сами желать для меня этого, если б в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, — но ветреность всегда жестока, и вы, женщины, кружа головы, кому ни попало, всегда бываете рады узнать, что чья-то душа страдает в честь и во славу вам. Прощайте, божественная, я бешусь, и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и привет г-ну Вульфу.

Вновь берусь за перо, ибо умираю от скуки и могу заниматься только вами. Я надеюсь, что вы прочитаете это письмо тайком. Спрячете ли вы его у себя на груди? Пришлете ли мне длинный ответ? Напишите мне все, что придет вам в голову, заклинаю вас. Если вы боитесь моей нескромности, если вы не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем, мое сердце сумеет вас узнать. Если ваши слова будут так же ласковы, как ваши взгляды, я, увы, постараюсь им поверить или обмануть самого себя, что все равно. Знаете ли вы, что, перечитывая эти строки, я стыжусь их сентиментального тона; что скажет Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»

Изучая по переписке душевную жизнь Пушкина за эти летние и осенние месяцы 1825 года, мы поражаемся мощной интенсивности его переживаний. Самые разнообразные думы, заботы и планы волновали его. Он только что закончил "Бориса Годунова" и подготовлял для печати книжки своих лирических стихотворений и поэм. Вместе с тем, через посредство матери и друзей, главным образом Жуковского, — он хлопотал перед властями о разрешении въезда в столицы или, по крайней мере, о том, чтобы ему позволили отправиться в Дерпт для операции аневризмы. В действительности в операции не представлялось ни малейшей нужды. Пушкин хотел попасть в Дерпт лишь потому, что оттуда легче было бы пробраться тайком за границу. Таким образом, мечты

о побеге вновь овладели Пушкиным и казались теперь ближе к осуществлению, нежели когда-либо. Но ужасное разочарование ожидало его. Прекрасная душа — Жуковский — совершенно всерьез принял выдуманную историю с аневризмом и, не надеясь смягчить государя, уговорил своего друга, известного дерптского хирурга и профессора И. Ф. Мойера лично съездить в Псков и там оперировать Пушкина. Поэт был вне себя, когда узнал об этой медвежьей услуге.

Все эти треволнения могли бы целиком поглотить более заурядную душу. Но у Пушкина еще оставались время и силы, чтобы любить, хотя, по собственному его выражению (в письме к Н. А. Полевому), «хлопоты всякого рода не давали ему покоя ни на минуту». Чувство к А. П. Керн пышно расцвело за это время. Волнение и беспокойство не гасили, но, напротив, подогревали и возбуждали его.

Пользовался ли он при этом взаимностью? Б. Л. Модзалевский, автор большой статьи об А. П. Керн, а также другие, более старые биографы склонны к утвердительному ответу. Но, по-видимому, они ошибаются, по крайней мере, поскольку дело касается этих первых месяцев. Прасковья Александровна увезла племянницу из Тригорского раньше, чем между нею и Пушкиным дело успело дойти до решительного объяснения. В своем первом письме Пушкин еще избегает произнести слово «любовь». При всей возможной искренности своего увлечения Пушкин не забывает тактических правил любовной науки, и все его письма к Анне Петровне представляют собой великолепный, почти музейный образец этой тактики. Нежность, страстная настойчивость, подкупающее красноречие любви идут в них, все возрастая и усиливаясь, от письма к письму. Если бы женщину того рода, к которому принадлежала А. П. Керн, можно было покорить одною перепиской, триумф Пушкина не подлежал бы сомнению. К несчастью для поэта, прежние опыты сделали добрую Анну Петровну несколько недоверчивой. Ее чув-

ственная и пассивная натура легко поддавалась мужским влияниям, когда источник их находился непосредственно возле нее. Но подействовать на нее на расстоянии нескольких сот верст оказалось мудрено. В конце концов она предпочла Пушкину своего кузена Алексея Вульфа; впрочем, это не помешало ей принять вызов поэта и вступить с ним в переписку.

IV

Пушкин получил ответ А. П. Керн около 14 августа и немедленно вновь написал к ней:

«Я перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: милая! прелесть! божественная!.. и затем: ах, мерзкая! — простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но порою вам не хватает здравого смысла; простите еще раз и утешьтесь, ибо от этого вы еще прелестнее. Что, например, хотите сказать вы, упоминая о печати, которая должна быть прилична для вас и вам нравиться (счастливая печать!), и которую я должен для вас придумать? Если тут нет какого-нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы от меня хотите. Требуете ли вы, чтобы я сочинил для вас девиз? Это было бы совсем во вкусе Нэтти!.. Что ж, сохраните и впредь слова: не скоро, а здорово, лишь бы они не послужили девизом для вашего путешествия в Тригорское, и поговорим о другом… Вы утверждаете, что я не знаю вашего характера? Что мне за дело до вашего характера? Очень я о нем забочусь — и разве красивые женщины должны иметь характер? Самое существенное для них — глаза, зубы, руки и ноги (я прибавил бы сюда сердце, но ваша кузина слишком злоупотребляла этим словом); вы утверждаете, что вас легко узнать, — то есть полюбить, — хотите вы сказать? Я того же мнения и сам служу доказательством его правильности; — я вел себя с вами, как ребенок 14 лет, — это недостойно, но с тех пор как я больше не вижу вас, я мало-помалу приобретаю вновь утраченное сознание превосходства и пользуюсь им, чтобы бранить вас. Если мы когда-

нибудь опять увидимся, обещайте мне… Нет, я не хочу ваших обещаний; и кроме того, всякое письмо так холодно; мольба, посланная по почте, не имеет ни силы, ни чувства, а в отказе нет ни грации, ни сладострастия. Итак, до свидания, и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, что у него был хороший припадок через день после вашего приезда. Поделом ему! Если б вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, испытываю я к этому человеку! Божественная, во имя неба, сделайте так, чтобы он играл в карты и болел подагрой; подагра! Это моя единственная надежда.

Перечитывая еще раз ваше письмо, я нахожу одно ужасное "если", которого сперва не заметил: если моя кузина останется в деревне, то я приеду нынче осенью и т. д. Во имя неба, пусть она останется! Постарайтесь занять ее, нет ничего легче. Прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время отъезда, сделайте ей неприятность, отбив ее вздыхателя, это еще легче. Но не показывайте ей ваших намерений; она способна из упрямства сделать как раз обратное тому, что нужно. Что вы сделали из вашего кузена? Расскажите мне, но откровенно. Отошлите его поскорее в университет; не знаю почему, но я не люблю этих студентов, совершенно так же, как г-н Керн. Весьма достойный человек, этот г-н Керн, человек степенный, благоразумный и т. д. У него только один недостаток — он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Я не могу представить себе этого так же, как не могу представить себе рая…

Это было написано вчера. Сегодня почтовый день; не знаю почему, я забрал себе в голову, что получу письмо от вас; этого не случилось, и я в собачьем настроении, хотя это весьма несправедливо с моей стороны: я должен был бы быть признателен за прошлый раз, я это помню; но, что хотите, это так. Умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите ко мне, любите меня и я тогда постараюсь быть милым. Прощайте, дайте ручку».

Это письмо, стоящее на втором месте в ряду дошедших до нас писем Пушкина к А. П. Керн, в действительности было по счету третьим. Между 1 и 14 августа он написал еще одно письмо, которое вложил по ошибке в пакет, предназначавшийся для Прасковьи Александровны. Та распечатала его, прочитала и нашла нужным уничтожить письмо, не показывая его племяннице. По этому поводу между обеими женщинами произошла ссора, дошедшая до открытого разрыва.

В двадцатых числах августа Пушкин получил новое послание от Анны Петровны и тотчас же ответил:

«Вы несносны, я совсем собрался писать к вам о разных дурачествах, которые заставили бы вас помирать со смеху; и вот является ваше письмо, чтобы расстроить меня в самом разгаре моего воодушевления. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас такой интересной, но которые ни черта не стоят, предупреждаю вас об этом. Почему должен я все время бранить вас? Не следовало писать ко мне, если рука у вас на перевязи; какая бестолковая голова!

Скажите, однако, что он вам сделал, этот бедный муж? Уж не ревнует он случайно? Что ж! Клянусь вам, он был бы в этом прав; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Красивая женщина вправе… быть чьей-нибудь возлюбленной[9]. Боже мой, я не собираюсь проповедовать мораль, но все же должно выказывать уважение к мужу, иначе никто не захочет быть мужем. Не презирайте этого ремесла, оно необходимо по условиям света. Слушайте, я говорю вам от чистого сердца: на расстоянии 400 верст вы ухитрились возбудить мою ревность; что же было бы в четырех шагах? (Хотел бы я знать, почему двоюродный ваш братец выехал из Риги лишь 15-го числа текущего месяца и почему его имя три раза оказалось на конце вашего пера в письме ко мне? Нельзя ли узнать это, не будучи нескромным?)

---

[9] Французский каламбур: Une jolie femme est bien la maîtresse d'être la maîtresse.

Простите, божественная, если я так откровенно говорю с вами. Это доказательство моего истинного участия к вам; я вас люблю больше, нежели вы думаете. Постарайтесь же примириться хоть немного с этим проклятым г-ном Керном. Я хорошо понимаю, что это не великий гений, но, наконец, это все же и не совсем дурак. Кротость, кокетство (и прежде всего, во имя неба, отказы, отказы и отказы) бросят его к вашим ногам — место, которому я завидую от глубины души, но что делать. Я в отчаянии вследствие отъезда Анеты; что бы там ни было, вы, безусловно, должны приехать нынче осенью сюда или хоть в Псков. В виде предлога можно указать болезнь Анеты, как вы думаете? Отвечайте мне, умоляю, и ничего не говорите А. Вульфу. Вы приедете, не правда ли? До тех пор ничего не решайте относительно мужа. Вы молоды, вся ваша жизнь впереди, а он… Наконец, будьте уверены, что я не из тех, которые никогда не советуют прибегать к решительному образу действий; иногда это бывает необходимо, но сперва надобно все обсудить и не делать бесполезного шума.

Прощайте! Уже ночь, и ваш образ является мне, грустный и сладострастный, мне кажется, будто я вижу ваш взгляд, ваш полуоткрытый рот. Прощайте. Мне кажется, будто я у ног ваших, сжимаю их, чувствую ваши колени, — я отдал бы всю кровь мою за одну минуту такой действительности. Прощайте и верьте моему бреду; он нелеп, но правдив».

Несколько дней спустя Пушкин узнал, что одно из его писем было распечатано Прасковьей Александровной и что в результате происшедшего затем столкновения разгневанная П. А. Осипова возвращается обратно к себе в Тригорское, а А. П. Керн остается в Риге при муже. 28 августа Пушкин отправил к Анне Петровне два письма. Одно на имя самой Анны Петровны и другое якобы для Прасковьи Александровны. Но в действительности и второе письмо также предназначалось А. П. Керн. Пушкин был уверен, что она распечатает его

немедленно по получении и таким образом расквитается с тетушкой, которая присвоила себе право надзора за ее корреспонденцией.

«Вот письмо для вашей тетушки. Вы можете оставить его у себя, если случайно ее нет уже больше в Риге. Скажите, можно ли быть такой опрометчивой? Каким образом письмо, написанное к вам, попало в другие руки? Но так как это случилось, то поговорим о том, что нам делать.

Если ваш супруг вам слишком наскучил, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, вы берете почтовых лошадей по дороге на Остров и приезжаете… куда? В Тригорское? Ничего подобного: в Михайловское. Вот великолепный план, который уже в течение четверти часа дразнит мое воображение; можете ли вы себе представить, как буду я счастлив? Вы мне скажете: "А шум, а скандал?" Какого черта! Скандал будет уже налицо, лишь только вы оставите мужа, прочее ничего не значит или очень мало. Но согласитесь, что план мой весьма романичен? Сходство характеров, ненависть к препятствиям, резко выраженный орган воровства и т. д., и т. д.

Можете ли вы представить изумление вашей тетушки? Конечно, последует разрыв. Вы будете видеться с вашей кузиной тайком, и это сделает дружбу менее скучной, а когда умрет Керн, вы станете свободны, как воздух. Ну, что же вы об этом скажете? Не прав ли был я, когда говорил, что способен преподать совет внушительный и смелый! Поговорим серьезно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас? Мысль, что нет, заставляет меня содрогаться. Вы мне скажете: утешьтесь. Отлично! Но как? Влюбиться? Невозможно. Сперва надо забыть ваши спазмы. Бежать за границу? Удавиться? Жениться? Со всем этим связаны большие затруднения, которые мне претят. Да! А кстати, ваши письма, каким образом я буду получать их? Ваша тетушка не хочет этой переписки, такой целомудренной, такой невинной (да и какой она может

быть… на расстоянии 400 верст). Весьма возможно, что наши письма будут перехватываться, читаться, комментироваться и потом подвергаться торжественному сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, и я посмотрю, что из этого выйдет. Но пишите мне, и много, вдоль и поперек, и по диагонали (геометрический термин). И прежде всего дайте мне надежду вновь вас увидеть. Если это невозможно, я в самом деле постараюсь влюбиться в кого-нибудь другого. Да, я забыл! Я написал Нэтти письмо, очень нежное и очень смиренное. Я без ума от Нэтти. Она наивна, а вы нет. Почему вы не наивны? Не правда ли, я гораздо любезнее по почте, нежели лицом к лицу? Ну так вот, если вы приедете, я обещаю быть чрезвычайно милым, я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, а в пятницу, субботу и воскресенье буду таков, как вам будет угодно, и всю неделю буду находиться у ног ваших. Прощайте!

Не распечатывайте прилагаемого письма. Это нехорошо. Ваша тетушка рассердится.

Но подивитесь, как милосердный бог все перепутал: г-жа О. распечатывает письмо, посланное к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письмо Нэтти, и все мы находим кое-что для себя поучительное. Поистине это одно волшебство».

Само собой разумеется, что Анна Петровна немедленно распечатала прилагаемое письмо. И вот что она там прочитала. «Да, сударыня, да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает. Как злы люди, которые полагают, что переписка может повести к чему бы то ни было! Уж не по опыту ли они это знают? Но я их прощаю, сделайте то же самое, и будем продолжать.

Ваше последнее письмо (писанное в полночь) очаровательно; я смеялся от всего сердца; но вы слишком суровы к вашей милой племяннице; правда, она опрометчива, но запаситесь терпением: еще десятка два лет, и она исправится,

обещаю вам это. Что до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно нестерпимо. Почему не довольствуется она тем, что имеет счастье нравиться сиру Керну? Нет, ей нужно еще кружить голову вашему сыну, ее двоюродному брату. По прибытии в Тригорское ей приходит на ум пленить г-на Рокотова и меня; это не все: по прибытии в Ригу она видит в тамошней проклятой крепости проклятого арестанта; она становится кокетливым провидением этого негодного каторжника! Это не все: от вас я узнаю, что в дело замешано еще несколько мундиров! Нет, право, это слишком: г-н Рокотов узнает об этом, и мы посмотрим, что он скажет. Но, сударыня, неужели вы серьезно думаете, что она кокетничает с полнейшим равнодушием? Она говорит, что нет; и мне хотелось бы этому верить, но еще более меня утешает то, что не у всех одна и та же манера ухаживать, и мне нужно лишь, чтобы все другие были почтительны, застенчивы и деликатны. Благодарю вас, сударыня, за то, что вы не передали моего письма; оно было слишком нежно, и при нынешних обстоятельствах это показалось бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, с дерзостью, меня отличающей, и решительно порву с нею, да не скажут, что я старался внести смуту в семейные недра, что Ерм. Фед. имел право обвинять меня в отсутствии принципов и что его жена смеялась надо мной. Как мило с вашей стороны находить портрет схожим: "смела в поступках" и т. д. Не правда ли? Она опять говорит, что нет; но, конечно, я ей больше не верю».

Отправив эти письма в Ригу, Пушкин некоторое время спустя испугался, как бы Анна Петровна и в самом деле не вздумала препроводить к тетке второе послание, что, конечно, повлекло бы за собой ссору поэта с владелицей Тригорского.

«Во имя неба, не посылайте г-же Осиповой письма, которое вы нашли у вас в пакете, — просил он 22 сентября. — Разве вы не видите, что оно было написано единственно для

вашего поучения? Сохраните его для себя, или вы нас поссорите. Я взялся установить мир между вами, но готов впасть в отчаяние после ваших последних оплошностей… Кстати, вы мне клянетесь вашими великими богами, что ни с кем не кокетничаете, и в то же время говорите ты вашему кузену, вы ему говорите: я презираю твою мать; это ужасно: следовало сказать: вашу мать, и даже ничего не следовало говорить, ибо фраза произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону, я советую вам прервать эту переписку, советую как друг, который вам истинно предан, без фраз и притворства. Я не понимаю, с какой целью вы кокетничаете с молодым студентом (который, к тому же, не поэт) на столь почтительном расстоянии. Когда он был около вас, я находил это вполне естественным, ибо надо быть рассудительным. Итак, решено! Не правда ли? Никакой переписки. Я вам ручаюсь, что он останется по-прежнему влюбленным. Серьезно ли вы говорите, будто одобряете мой план?

Анета совсем перетрусила, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это весьма простительно. Не захотите ли вы, ангел любви, переубедить душу, неверующую и увядшую? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это будет вам легко. Мое сердце бьется, в глазах темнеет, я впадаю в истому при одной этой мысли. Не одна ли это пустая надежда, подобно стольким другим… Но к делу; прежде всего нужен предлог: болезнь Анеты, что вы об этом скажете? Или не предпринять ли вам путешествие в Петербург… Вы меня известите, да? Не обманывайте меня, прекрасный ангел! Как я вам буду признателен, если смогу расстаться с жизнью, узнав счастье! Не говорите мне о восхищении. Это чувство не стоит имени чувства. Говорите мне о любви: я ее жажду, но прежде всего не говорите мне о стихах… Ваш совет написать к его вел. тронул меня, как доказательство того, что вы думаете обо мне; благодарю на коленях, но не могу последовать этому совету. Надо, чтобы судьба

определила дальнейшее; я не хочу в это вмешиваться... Надежда вновь увидеть вас прекрасной и юной только и дорога мне. Еще раз, не обманывайте меня.

Завтра день именин вашей тетушки; итак, я буду в Тригорском; ваша мысль выдать замуж Анету, чтобы иметь приют, восхитительна, но я ничего не сказал ей об этом. Отвечайте, умоляю вас, по главным пунктам этого письма, и я поверю, что мир еще стоит того, чтобы жить в нем».

Мы не знаем, как встретились и что говорили друг другу с глазу на глаз Пушкин и Прасковья Александровна. Но, повидимому, они кончили тем, что помирились. Вскоре после этого состоялось примирение и с Анной Петровной. Племянница вновь навестила тетку в Тригорском, причем муж на сей раз сопровождал ее. «Вы видели из писем Пушкина, — сообщала А. П. Керн Анненкову, — что она [П. А. Осипова] сердилась на меня за выражение в письме к Алексею Вульфу: "Je meprise ta mère". Еще бы! И было за что. Керн предложил мне поехать; я не желала, потому что Пушкин из угождения к тетушке перестал мне писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко ехать к тетушке, когда она сердится; он, ни в чем не сомневающийся, как и следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас помирить. Я согласилась. Он устроил романическую сцену в саду (над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошел вперед, оставив меня в экипаже; я через лес и сад пошла после — и упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела; он очень не поладил с мужем, а со мною опять был по-прежнему и даже больше нежен, боясь всех глаз, на него и меня обращенных».

Чета Керн провела в Тригорском всего несколько дней и воротилась в Ригу. Немедленно по их отъезде Пушкин напи-

сал в альбом Прасковьи Александровны свое стихотворение «Последние цветы» — как раз такое стихотворение, с которым можно обратиться к уже стареющей женщине.

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас:
Так иногда разлуки час
Живее самого свиданья.

Стихи эти об осенних цветах любви должны были, вероятно, ознаменовать окончательную ликвидацию недавних раздоров.

А. П. Керн добросовестно желала примириться с мужем и опять начать жить с ним вместе. Но ей не удалось к этому себя принудить. За предшествующие несколько лет она привыкла к безусловной свободе, и роль послушной и верной супруги дивизионного генерала, да еще в провинциальном городе, тяготила ее. Поэтому она задумала перебраться на житье в Петербург. «Уезжая из Риги, — рассказывает она, — я послала ему [Пушкину] последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих: так он был признателен за Байрона». «Я совсем не ожидал, волшебница, что вы меня вспомните, — писал он. — Благодарю вас от всей глубины души. Байрон получил для меня новое очарование; все его героини облекутся в моем воображении в черты, которые нельзя забыть. Я буду видеть вас в Гюльнаре и в Лейле. Идеал самого Байрона не может быть более божественным. Значит, как и прежде, судьба посылает вас, чтобы населить чарами мое одиночество. Вы ангел утешения, а я просто неблагодарный человек, так как продолжаю роптать. Вы отправляетесь в Петербург, и мое изгнание меня гнетет более, чем когда-либо. Быть может, перемена, имеющая совершиться, приблизит меня к вам, но не смею надеяться. Не будем верить

надежде, это всего-навсего красивая женщина, которая обращается с нами, словно со старыми мужьями. Что поделывает ваш муж, мой кроткий ангел? Знаете ли вы, что с его чертами я воображаю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.

8 декабря.

Вновь беру перо, дабы сказать вам, что я у ног ваших, что я люблю вас, как всегда, что я вас порой ненавижу, что третьего дня я говорил о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные руки, целую вновь и вновь в ожидании лучшего, что я не могу больше, что вы божественны и т. д.».

Это, едва ли не самое любезное, письмо оказалось, однако, самым последним. По крайней мере, дальнейшие письма до нас не дошли, и любовь к А. П. Керн вскоре остыла в душе Пушкина. Еще в 1825 году он заинтересовался мимоходом Нэтти Вульф — другой племянницей Прасковьи Александровны, а к первым месяцам 1826 года относится начало его романа с Анной Николаевной.

Поселившись в Петербурге, Анна Петровна завязала тесную дружбу с Ольгой Сергеевной Пушкиной. Затем в нее влюбился Лев Сергеевич, младший брат поэта. Сама она находилась в это время в связи с Алексеем Вульфом. Она попрежнему пользовалась головокружительным успехом и, отлученная от большого света, встречала тем не менее дружеский прием во многих домах, в частности у родителей Пушкина и в семье его друга, барона А. А. Дельвига. Среди ее поклонников, платонических и иных, мы находим поэта Д. В. Веневитинова, композитора М. И. Глинку, будущего профессора и цензора Никитенку, литератора Ореста Сомова и даже, уже в тридцатых годах, престарелого Сергея Львовича Пушкина, который на склоне лет сделался до того влюбчив, что увлекся не только самой Анной Петровной, но и подросшей к тому времени дочерью ее Екатериной Ермолаевной.

Разнообразные похождения А. П. Керн длились до самого 1842 года, когда, овдовев, она вторично вышла замуж за свое-

го троюродного брата А. В. Маркова-Виноградского, бывшего на 20 лет моложе ее. Она была еще настолько хороша собой, что второй брак ее был заключен по страстной взаимной любви.

Какой-то горький осадок сохранился в душе Пушкина в результате его увлечения А. П. Керн. Отзывы о ней, попадающиеся время от времени в его письмах, пренебрежительны и грубы.

«Что делает вавилонская блудница Анна Петровна? — спрашивал он Алексея Вульфа в мае 1826 года. — Говорят, что Болтин очень счастливо метал против почтенного Ермолая Федоровича. Мое дело сторона, но что же скажете вы?»

В 1826 году и позднее, уже вырвавшись из заточения, поэт имел возможность часто встречать А. П. Керн в доме своих родителей и у Дельвигов и даже появлялся иногда у нее в гостях. Когда сестра поэта Ольга Сергеевна выходила замуж за Н. И. Павлищева, то роль посаженных отца и матери должны были играть А. С. Пушкин и А. П. Керн. В своих мемуарах Анна Петровна следующим образом вспоминает этот эпизод: «Мать Пушкина Надежда Осиповна, вручая мне икону и хлеб, сказала: "Remplacez moi, chère amie, avec cette image, que je vous confie pour benir ma fille". Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц. Мороз трещал страшный. Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, заметил, что еще никогда не видел меня одну: "Voilà pourtant la première fois, que nous sommes seules, madame". Мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры, а потому без лишних объяснений я сказала только, что этот необыкновенный случай

отмечен большим морозом. “Vous avez raison. Vingt-sept degrée”, — повторил Пушкин, закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным».

Путем довольно невинной хитрости Анна Петровна старается намекнуть читателю, что в январе 1828 года она впервые осталась наедине с Пушкиным и что, стало быть, никакой связи между ними не было. Она, увы, и не подозревала, составляя по просьбе Анненкова свои воспоминания, что в том же 1828 году Пушкин писал С. А. Соболевскому: «Ты ничего не пишешь о 2100 мною тебе должных, а пишешь о m-me Керн, которую с помощью Божией я на днях у…».

Позже, в 1835 году, он писал жене: «Ты переслала мне записку от m-me Керн; дура вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сосводничал ее со Смирдиным. Черт побери их обоих! Я поручил Анне Николаевне отвечать ей за меня, что, если перевод ее будет так же верен, как сама она верный список с m-me Занд, то успех ее не сомнителен, а со Смирдиным я не имею никакого дела».

Из всех приведенных отрывков видно, что Пушкин говорил о женщине, которая подарила ему чудное мгновенье, почти в том же тоне, как и муж ее — Ермолай Федорович, писавший в 1837 году, что жена его «предалась блудной жизни и, оставив его более десяти лет тому назад, увлеклась совершенно преступными страстями своими…»

Биографы Пушкина никогда не хотели и до сих пор не хотят допустить, чтобы на славного поэта могло пасть обвинение в неделикатности. Так, Б. Л. Модзалевский замечает: «В одном из писем своих С. А. Соболевскому Пушкин, с присущей ему способностью писать корреспондентам своим в тоне их собственных писем и в соответствии с их характерами, сообщает, например, в крайне циничной форме, что он наконец добился расположения Анны Петровны и одержал над ней победу. Мы допускаем полную возможность предположить, что в данном случае Пушкин написал это для крас-

ного словца; Соболевский сам ухаживал в это время за Анной Петровной, и нет ничего невозможного в том, что поэт просто хотел досадить своему приятелю, чувства к которому у него были очень неглубоки, соответствуя вполне облику этого беспутного или, по выражению самого Пушкина, “безалаберного” человека».

Главным образом Н. О. Лернер, комментируя вышеприведенное письмо к жене, высказывает уверенность, что грубый отзыв поэта о предмете его прежнего поклонения вызван лишь подозрительностью его супруги и желанием его, с одной стороны, не огорчать любимую женщину, а с другой — не дать повода к новому столкновению, уничтожить новое возможное подозрение в неверности.

«Это была вынужденная и довольно невинная хитрость», — прибавляет Лернер.

Комментаторы в своем стремлении во что бы то ни стало обелить Пушкина заходят чересчур далеко и достигают результатов как раз обратных тем, какие для них желательны. Если бы Пушкин позволил себе набросить тень на женщину, некогда им любимую, исключительно ради красного словца, если бы он отзывался о ней с пренебрежением и насмешкой из одного притворства, для него действительно не было бы оправданий. Но, по-видимому, дело обстояло гораздо проще. Пушкин в обоих случаях писал именно так, как думал и чувствовал. В его словах не было никакой предумышленности, никакого хитроумного, психологического расчета. Любовь прошла безвозвратно и уступила место глухому раздражению. Истинным объектом этого раздражения являлся он сам со своим былым чувством, а вовсе не Анна Петровна, которая ведь была не виновата, что поэт увидел гений чистой красоты в образе вавилонской блудницы, насильно выданной за дивизионного генерала. Поэтому к самой Анне Петровне Пушкин мог относиться просто и дружелюбно. Но теперь он хотел называть вещи своими именами. Пленительный кумир был

снова — в который раз — разоблачен и лишен окутывавшего его покрывала иллюзии, и за этим последним, как всегда, открылся безобразный призрак убогой действительности. Пушкин стыдился своего былого самообмана; впрочем, может быть, он был немножко сердит и на саму Анну Петровну, которая, такая сговорчивая с другими, отвергла его домогательства или если даже уступила им, то слишком поздно, когда рассеялся без остатка душный, сладкий туман страсти и уцелела одна только обнаженная, прозаическая похоть. И оттого он писал чуть-чуть грубее и циничнее, нежели следовало бы, чтобы вполне точно выразить оттенок его тогдашних чувствований.

V

С январем и февралем 1826 года связан один из самых нехороших поступков, который мы знаем за Пушкиным. В эти месяцы завязался его роман с Анной Николаевной Вульф, и при всем желании нельзя не признать, что роль его была при этом совершенно предосудительна.

Чем руководствовался он, начиная эту интригу? — Скукой и праздным, но жестоким психологическим любопытством. Других побудительных причин не могло быть в данном случае у псковского ловеласа.

Он нисколько не был увлечен Анной Николаевной. Как женщина она ему нимало не нравилась. Он уже давно потешался над ее слезливой чувствительностью, давно изводил ее своими колкостями, победа над ее беззащитным сердцем не представляла для него никакого труда и даже не обещала триумфа его самолюбию. И все-таки он не счел нужным отказаться от этой победы. Это был как бы его реванш, прекрасная и обольстительная А. П. Керн ускользнула от него, зато бедная Анна Николаевна досталась ему в жертву. Кто знает, быть может, в своем незлобливом смирении она рада была, в конце концов, даже этой возможности.

Анета Вульф, благополучно прожившая довольно продолжительное время в опасном соседстве Михайловского, вдруг без памяти влюбилась в Пушкина. Он, конечно, не был влюблен ни на мгновенье, и, однако, настойчиво принялся за нею ухаживать, но зоркая Прасковья Александровна своевременно подняла тревогу и поспешила отвезти дочь к тетке в Тверскую губернию, в село Малинники.

Анна Николаевна писала оттуда Пушкину в начале марта:

«Вы должны быть теперь в Михайловском и уже давно — вот все, что я наверное знаю относительно вас. Я долго колебалась, написать ли к вам прежде получения письма от вас. Но так как размышление мне никогда ни к чему не служит, я кончила тем, что уступила желанию написать к вам. Но как начать и что я вам скажу? Я боюсь и не могу дать воли своему перу. Боже, почему я не уехала раньше, почему — но нет, мои сожаления ни к чему не послужат — они будут, быть может, лишь торжеством для вашего тщеславия; весьма возможно, что вы уже не помните последних дней, которые мы провели вместе. Я недовольна, что не написала к вам в первые дни по приезде. Мое письмо было бы прелестно; но сегодня это для меня невозможно: я могу быть лишь нежна и думаю, что в конце концов разорву это письмо. Знаете ли вы, что я плачу, когда пишу к вам? Это меня компрометирует, я это чувствую; но это сильнее меня; я не могу с собою сладить. Почти несомненно, что я остаюсь здесь: моя милая мамаша все устроила, не спросив моего мнения; она говорит, что это большая непоследовательность с моей стороны не желать остаться теперь, когда зимою я хотела уехать даже одна! Вы видите, что вы сами во всем виноваты; должна ли я проклинать или благословлять Провидение, пославшее вас на моем пути в Тригорском? Если еще вы будете на меня сердиться за то, что я осталась здесь, вы будете чудовищем после этого — слышите, сударь? Я сделаю все возможное, чтобы не остаться, даю вам слово, и если не буду иметь успеха, верьте,

что это будет не моя вина. Не думайте, однако, что я действую так потому, что у меня здесь никого нет; напротив: я нашла очаровательного кузена, который меня страстно любит и не желает ничего лучшего, как доказать это по вашему примеру, если бы я захотела. Это не улан, как, может быть, вы готовы предположить, но гвардейский офицер, очаровательный молодой человек, который ни с кем мне не изменяет; слышите ли? Он не может примириться с мыслью, что я провела столько времени с вами — таким страшным развратником. Но увы! Я ничего не чувствую при его приближении: его присутствие не вызывает во мне никаких чувств. Я все время ожидаю письма от вас. Какой радостью это было бы для меня! Однако я не смею просить вас об этом, я даже боюсь, что не смогу к вам писать, ибо не знаю, смогу ли скрывать свои письма от кузин, и затем что могла бы я вам сказать? Я предпочитаю совсем не получать от вас писем, нежели иметь подобные тем, которые вы писали в Ригу.

Почему я не рассталась с вами теперь с таким же равнодушием, как тогда, почему Нэтти не приехала тогда за мной? Быть может, мы расстались бы иначе. Под различными предлогами я не показала ей этого письма, сказав, что пишу к А. К. Но я не смогу всегда так делать, не вызывая подозрений; несмотря на всю мою опрометчивость и непоследовательность, вы сумели сделать меня сдержанной.

Я говорю о вас как можно меньше, но я печальна и плачу, и однако это очень глупо, ибо я уверена, что, поскольку дело касается вас, вы думаете уже обо мне с величайшим равнодушием и, быть может, говорите про меня ужасные вещи, между тем как я!.. Забыла сказать вам, что мама нашла, что вы были печальны во время нашего отъезда. Ему, кажется, нас жаль! Мое желание вернуться внушает ей подозрение, и я боюсь слишком настаивать. Прощайте, я вам делаю гримасу.

8 марта. Прошло уже несколько времени с тех пор, как я написала к вам это письмо; я не могла решиться отослать его

к вам. Боже! Постановлено, что я остаюсь здесь. Вчера у меня была очень оживленная сцена с матерью по поводу моего отъезда. Она сказала перед всеми моими родными, что решительно оставляет меня здесь, что я должна остаться и что она не может взять меня с собой, ибо, уезжая, все устроила так, чтобы оставить меня здесь. Если бы вы знали, как я опечалена. Я, право, думаю, подобно А. К., что она хочет одна покорить вас и оставляет меня здесь из ревности. Надеюсь, однако, что это продлится только до лета: тетя поедет тогда в Псков, и мы вернемся вместе с Нэтти. Но сколько перемен может произойти до тех пор: быть может, вас простят, быть может, Нэтти вас сделает совсем другим. Очень непредусмотрительно будет с моей стороны вернуться с нею; я, однако, готова рисковать, и надеюсь, что у меня хватит самолюбия не жалеть о вас. А. К. должна тоже приехать сюда; однако между нами не будет соперничества, кажется, каждая довольна своим жребием. Это делает вам честь и доказывает нашу суетность и доверчивость. Евпраксия пишет мне, будто вы ей сказали, что забавлялись в Пскове — уж не со мною ли? что вы за человек тогда и какой дурой была я! Боже, если я получу письмо от вас, как я буду довольна; не обманывайте меня, во имя неба, скажите, что вы меня совсем не любите, тогда, быть может, я буду спокойнее. Я взбешена на мать. Что за женщина, в самом деле! В конце концов, в этом вы тоже виноваты.

Прощайте; что вы скажете, прочтя это письмо; если вы напишете мне, отправьте письмо через Трейера; это будет надежнее. Я не знаю, как адресовать это письмо, я боюсь, что в Тригорском оно попадет в руки мамы; или написать к вам через Евпраксию — скажите мне, как лучше».

Пушкин не торопился с ответом, и во второй половине марта Анна Николаевна написала ему вторично: «Если вы получили мое письмо, во имя неба, разорвите его. Я стыжусь моего безумия; никогда я не посмею поднять глаза на вас,

если вас вновь увижу. Мама уезжает завтра, а я остаюсь здесь до лета; так, по крайней мере, я надеюсь. Если вы не боитесь компрометировать меня в глазах сестры (как вы это делаете, судя по ее письму), я усиленно прошу вас не делать этого при маме. Сегодня она шутила над нашим прощанием в Пскове, которое она находит весьма нежным; она говорит, она думала, что ничего не замечаю (как вам это покажется?).

В конце концов вам нужно лишь проявить себя таким, каковы вы и есть на самом деле, чтобы разуверить ее и доказать, что вы даже не замечаете моего отсутствия. Какое наваждение околдовало меня! Как вы умеете притворяться! Я согласна с моими кузинами, что вы очень опасный человек, но постараюсь стать рассудительнее. Во имя неба разорвите мое первое письмо и разбейте чашку, которую я вам подарила в Пскове. Это дурная примета — дарить чашку. Я очень суеверна и, чтобы вознаградить вас за эту потерю, обещаю вам по возвращении подарить сургуч для писем, который вы у меня просили при отъезде. Я буду учиться по-итальянски и хотя очень сердита на вас, но думаю, что первое мое письмо будет к вам».

Несмотря на настойчивые просьбы, Пушкин письма не разорвал. Зато он удосужился наконец настрочить ответ, для нас не сохранившийся. Получение его опять вызвало целую бурю в душе А. Н. Вульф.

«Боже! Какое чувство испытала я, читая ваше письмо, и как была бы я счастлива, если бы письмо сестры не примешало горечи в мою радость. Вчера утром я пила чай, когда мне принесли с почты книги; я не могла угадать, откуда они присланы, и вдруг, развернув их, увидела Lascasas; мое сердце забилось, и я не смела развернуть их, тем более что в комнате были люди. Я была бы довольна вашим письмом, если бы не помнила, что вы писали такие же письма, и даже более нежные, в моем присутствии А. К., а также Нэтти. Я не ревнива, верьте мне, если б я была ревнива, моя гордость скоро

бы восторжествовала над чувством; и, однако, я не могу не сказать вам, как сильно меня оскорбляет ваше поведение. Как? Получив мое письмо, вы восклицаете: ах, Господи, что за письмо! словно от женщины! и бросаете его, чтобы читать глупости Нэтти; вам не хватало только сказать, что вы находите его слишком нежным. Нужно ли говорить, как это меня оскорбляет; сверх того, сказать, что письмо от меня, значило сильно меня компрометировать. Сестра была очень этим обижена и, опасаясь огорчить меня, рассказывает обо всем Нэтти. Эта последняя, которая не знала даже, что я к вам писала, изливается в упреках на недостаток дружбы и доверия к ней; вот что наделали вы сами, вы, который обвиняет меня в опрометчивости! Ах, Пушкин, вы не стоите любви, и я была бы счастливее, если бы раньше оставила Тригорское и если бы последнее время, которое я провела там с вами, могло изгладиться из моей памяти. Как вы не поняли, почему я не хотела получать от вас писем вроде тех, которые вы писали в Ригу. Этот слог, который задевал тогда только мое тщеславие, растерзал бы теперь мое сердце; тогдашний Пушкин не был для меня тем, к которому я пишу теперь. Разве вы не чувствуете этого различия? Это было бы очень унизительно для меня; я боюсь, что вы меня не любите так, как должны были бы любить; вы раздираете и раните сердце, цены которому не знаете; как бы я была счастлива, если бы обладала той холодностью, которую вы предполагаете во мне! Никогда в жизни я не переживала такого ужасного времени, как нынче; никогда я не чувствовала душевных страданий, подобных тем, которые я теперь испытала, тем более, что я должна скрывать все муки в моем сердце. Как я проклинала мою поездку сюда! Признаюсь, что последнее время, после писем Евпраксии, я хотела сделать все возможное, чтобы попытаться забыть вас, так как я очень на вас сердилась. Не беспокойтесь относительно кузена; моя холодность оттолкнула его и, кроме того, явился другой соискатель, с которым он не смеет мериться

силами и которому вынужден вступить место: это Анреп, который провел здесь последние дни. Нужно признаться, что он очень красив и очень оригинален; я имела честь и счастье покорить его. О, что до него, то он вас даже превосходит, чему я никогда бы не могла поверить, — он идет к цели гигантскими шагами; судите сами: я думаю, что он превосходит вас даже в наглости. Мы много говорили о вас; он, к моему большому удивлению, повторил несколько ваших фраз, например, что я слишком умна, чтобы иметь предрассудки. Чуть ли не в первый день он хватает меня за руку и говорит, что имеет полное право поцеловать ее, так как я ему очень нравлюсь. Заметьте, сударь, прошу вас, что он не ухаживал и не ухаживает здесь ни за кем другим и не повторяет мне фраз, сказанных другой женщине; напротив, он ни о ком не заботится и следует за мной повсюду; уезжая, он сказал, что от меня зависит заставить его вернуться. Однако не бойтесь: я ничего не чувствую по отношению к нему, он не произвел на меня никакого эффекта, тогда как одно воспоминание о вас меня волнует.

Мама обещала прислать за мною в июне, если тетя не приедет к нам летом. Должна ли я просить вас сделать все возможное, чтобы она сделала это поскорей? Я очень боюсь, что вы совсем не любите меня; вы чувствуете лишь преходящие желания, которые столько других испытывают не хуже вас. У нас здесь много народу; я едва нашла минуту, чтобы написать к вам. Сегодня мы будем обедать у одной из моих теток: нужно кончать письмо, так как я должна одеться. Я буду в большом обществе, но мечтать буду только о вас. Напишите мне для большей верности через Трейера: это вернее; вам нечего бояться; он не знает, чьи письма он передает мне, и ваш почерк здесь никому не знаком. Разорвите мое письмо, прочитав его, заклинаю вас, а я сожгу ваше. Знаете ли вы, я все время боюсь, что вы найдете мое письмо слишком нежным, и не говорю вам всего, что чувствую. Вы говорите,

что ваше письмо пошло, потому что вы меня любите: какая нелепость! Особенно для поэта; что, как не чувство, делает нас красноречивыми. А теперь прощайте. (Если вы чувствуете то же, что и я, то я довольна.) Боже, думала ли когда-нибудь, что напишу подобную фразу мужчине? Нет, я ее вычеркиваю. Еще раз прощайте, я вам делаю гримасу, так как вы это любите. Когда мы увидимся? Я не буду жить до этой минуты».

Это письмо датировано 2 апреля. Следующее сохранившееся письмо Анны Николаевны, относится уже ко 2 июня.

«Наконец я получила ваше письмо. Трейер сам мне принес его, и я не могла удержаться от восклицания, увидев его. Как это вы мне не писали так долго? Почему вы не могли сделать этого скорее? Ваши вечные отговорки очень плохи. Все, что вы мне говорите об Анрепе, мне чрезвычайно не нравится и обижает меня двояким образом: во-первых, предположение, что он сделал что-то большее, кроме поцелуя руки, оскорбительно для меня с вашей стороны, а слова эти все равно обижают меня в другом смысле. Я надеюсь, вы достаточно умны, чтобы почувствовать, что этим вы выказываете свое равнодушие ко всему происшедшему между мною и им. Это не особенно мило. Я заметила, что он превосходит вас в смысле наглости не по его поведению со мной, но по его манере держаться со всеми и по его разговору в обществе.

Стало быть, нет надежды, что мама пришлет за мною, это несносно! Надежда Гавриловна все время обещает маме приехать в будущем месяце; но нельзя на это рассчитывать; это она портит все дело; г-жа Трейер приезжает сюда через две недели. Я могла бы уехать вместе с ней. Если б мама прислала экипаж с этой женщиной, это было бы восхитительно, и тогда, не позже как через месяц, я очутилась бы в Тригорском. Я рассчитываю на брата, чтобы устроить это; надо лишь убедить маму, что Надежда Гавриловна будет все время откладывать свое путешествие с месяца на месяц. Я думаю,

что он должен быть уже в Тригорском, и напишу ему об этом. Неопределенность меня сильно мучит; все время я была очень больна и теперь еще испытываю недомогание. Как я удивилась, получив однажды большой пакет от вашей сестры; она мне пишет совместно с А. К.; они в восторге одна от другой. Лев пишет мне тысячу нежностей в том же письме и, к моему удивлению, я нашла там также несколько строк от Дельвига, которые доставили мне много удовольствия. Мне, однако, кажется, что вы чуть-чуть ревнуете ко Льву. Я нахожу, что А. К. очаровательна, несмотря на ее большой живот; это выражение вашей сестры. Вы знаете, что она осталась в Петербурге, чтобы родить, а затем предполагает приехать сюда… Как неосторожно было с вашей стороны оставить мое письмо; мама едва не увидела его. Ах, что за блестящая мысль: взять почтовых лошадей и приехать совсем одной; я хотела бы видеть, какой милый прием мне устроила бы мама; она готова была бы не принять меня. Эффект был бы слишком велик. Бог знает, когда я вас опять увижу. Это ужасно и делает меня совсем печальной. Прощайте.

Пожалуйста, пишите ко мне почаще: ваши письма — мое единственное утешение, вы знаете, я очень печальна. Как я желаю и как я боюсь возвращения в Тригорское! Но я предпочитаю ссориться с вами, чем оставаться здесь: здешние места очень несносны, и нужно признаться, что среди уланов Анреп лучше всех, и весь полк немного стоит, а здешний воздух совсем мне не полезен, так как я все время больна. Боже, когда я вас увижу!»

В письмах Анны Николаевны сплошь да рядом встречается имя Нэтти. Так звали в семье Анну Ивановну Вульф, племянницу Прасковьи Александровны, дочь тверского помещика Ивана Ивановича Вульфа. Пушкин также флиртовал с нею некоторое время в конце 1825 года. Но это было совершенно мимолетное чувство, а вернее — даже не чувство, а только шалость от скуки. Нэтти Вульф вместе с Анной Николаевной

удостоилась чести украсить своим именем лишь вторую часть Донжуанского списка, где стоят рядом целых три Анны.

Не было, конечно, замешано чувство и в другом галантном приключении, следы которого хранит переписка Пушкина за 1826 год. В отличие от всех предыдущих случаев это был типический крепостной роман — связь молодого барина с крепостной девкой. Еще в январе 1825 года И. И. Пущин, посетивший своего лицейского друга в Михайловском, имел возможность заметить начало этой связи, а быть может, другой, во всем ей подобной: «Вошли, — рассказывает Пущин, — в нянину комнату, где собрались швеи. Я тотчас же заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Он тотчас же прозрел шаловливую мою мысль и улыбнулся значительно».

Таково было начало. Об окончании, год слишком спустя, читаем в письме Пушкина к Вяземскому: «Милый мой Вяземский, ты молчишь, и я молчу; и хорошо делаем — потолкуем когда-нибудь на досуге. Покамест дело не о том. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах.

При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню — хоть в Астафьево? Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести. Прощай, мой ангел, болен ли ты или нет, мы все больны — кто чем. Отвечай же подробно».

Письмо это поставило в большое затруднение князя Петра Андреевича. Он рад был услужить другу, но дело в том,

что девушка была крепостной и являлась общей собственностью Сергея Львовича Пушкина и его брата Василия. Взять ее к себе без согласия господ князь не смел и потому вынужден был ответить Пушкину отказом. Впрочем, человек практический, он придумал выход из неприятного положения.

«Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет с отцом и с своим семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать это нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет: написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею Божьею ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана, на страх завести новую классико-романтическую распрю хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, но оно неисполнительно и неудовлетворительно. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (ou peu s’en faut) нет возможности».

Доводы князя убедили Пушкина. «Ты прав, любимец муз, — отвечал он Вяземскому, — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело».

Имени этой девушки мы не знаем, точно так же, как неизвестна и судьба малютки, о котором должны были позаботиться, если бы то был мальчик. Но странно подумать, что, может быть, сравнительно до недавнего времени где-то в Нижегородской губернии жил крестьянин, приходившийся родным сыном Пушкину.

Глава шестая

I

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года присланный губернатором фон-Адеркасом чиновник неожиданно явился в Михайловское и увез Пушкина в Псков. Там его уже поджидал фельдъегерь, немедленно ускакавший с поэтом в Москву, к государю.

Тогдашнее общество находилось еще под свежим впечатлением террора, вызванного многочисленными арестами декабристов и их действительных или предполагаемых сообщников. Вполне понятно поэтому, что все близкие мнимого арестанта были не на шутку испуганы его увозом. Они забыли, что — по выражению Пушкина — «у нас ничего не умеют делать без фельдъегеря». Тревогу П. А. Осиповой поэт успел вскоре успокоить запиской, посланной из Пскова. Но Анне Николаевне пришлось пережить немало жестоких нравственных терзаний.

Бедной девушке так и не суждено было попасть в Тригорское до конца лета. Сперва ее держали в Малинниках, несмотря на все мольбы и протесты, а потом отправили в Петербург. Здесь она узнала, что Пушкин, неведомо с какою целью, вытребован в Москву. Эта новость взволновала ее ужасно, и она воспользовалась предлогом, чтобы возобновить оборвавшуюся переписку.

«Что сказать вам и как начать это письмо? И однако я испытываю потребность написать к вам, потребность, не позволяющую мне слушать доводов разума. Я стала совсем другим человеком, узнав вчера новость о том, что вас забрали. Бог небесный! что же это будет? Ах, если б я могла спасти вас, рискуя собственной жизнью, с каким наслаждением я пожертвовала бы ею и просила бы у неба, как единственной милости, случая видеть вас за одно мгновение перед смертью. Вы не можете себе представить, какую тревогу я переживаю;

неизвестность для меня ужасна; никогда я не испытывала таких нравственных страданий. Я должна уехать через два дня, ничего не узнав достоверного относительно вас. Нет, я никогда не испытывала ничего столь ужасного за всю мою жизнь, и не знаю, как не потеряла рассудка. А я-то рассчитывала увидеть вас вновь в течение ближайших дней! Судите, каким неожиданным ударом должна была быть для меня новость о вашем отъезде в Москву. Доберется ли до вас это письмо и где оно вас найдет? Вот вопросы, на которые никто не может ответить. Вы сочтете, быть может, что я очень худо сделала, написав к вам, и я тоже так полагаю, и однако не могу лишить себя единственного утешения, которое мне осталось. Я пишу к вам через посредство Вяземского; он не знает, от кого это письмо; он обещал сжечь его, если не сможет передать вам. Доставит ли оно вам удовольствие? Вы, пожалуй, очень изменились за последние месяцы: оно может даже показаться вам неуместным. Признаюсь, что эта мысль для меня ужасна, но в эту минуту я могу думать только об опасностях, которые вам угрожают, и оставляю в стороне все другие соображения. Если возможно, во имя неба, ответьте мне хоть одним словом. Дельвиг хотел прислать вам со мною длинное письмо, в котором он просит вас быть осторожным! Я очень боюсь, что вы не были таковы. Боже, с какою радостью узнала бы я, что вы прощены, если б даже нам не пришлось более никогда свидеться, хотя это условие ужасно для меня, как смерть. Вы не скажете на сей раз, что мое письмо остроумно; в нем нет здравого смысла, и однако я посылаю его к вам. В самом деле, что за несчастье любить каторжника! Прощайте. Какое счастье, если все кончится хорошо; иначе я не знаю, что со мною станется. Я сильно скомпрометировала себя вчера, когда узнала ужасную новость, а за несколько часов перед тем я была в театре и лорнировала князя Вяземского, чтобы иметь возможность рассказать вам о нем по возвращении. Мне нужно много вам сказать, но я сегодня все

время говорю не то, что следует, и, кажется, кончу тем, что разорву это письмо. Моя кузина Анета Керн выказывает живой интерес к вашей участи. Мы говорим только о вас; она одна меня понимает, и только с нею я могу плакать. Мне очень трудно притворяться, а я должна казаться счастливой, когда душа моя растерзана.

11 сентября.

Нэтти очень тронута вашей участью. Да хранит вас небо. Вообразите, что я буду чувствовать по приезде в Тригорское. Какая пустота и какая мука! Все будет напоминать мне о вас. С совсем иными чувствами я думала приближаться к этим местам; каким милым сделалось мне Тригорское; я думала, что жизнь моя начнется там снова; как горела я желанием туда вернуться, а теперь я найду там лишь мучительные воспоминания. Почему я оттуда уехала? Увы! Но я слишком откровенно говорю с вами о моих чувствах. Прощайте! Сохраните хоть немного привязанности ко мне. Моя привязанность к вам этого стоит. Боже, если бы увидеть вас довольным и счастливым!»

Неделю спустя она узнала правду. Испуг ее не имел оснований: ничто не угрожало Пушкину. Но радость ее была отравлена. Она хорошо понимала, что человек, любимый ею, потерян для нее навсегда. Внешние узы, удерживавшие поэта в соседстве Тригорского, порвались, а на узы внутренние, душевные рассчитывать она не могла.

«Во мне достаточно мало эгоизма, — пишет она, — чтобы радоваться вашему освобождению и с живостью поздравлять вас, хотя вздох вырывается у меня невольно, когда я пишу это, и хотя я много дала бы, чтоб вы были в Михайловском. Все порывы великодушия не могут заглушить мучительное чувство, которое я испытываю, думая, что не найду вас более в Тригорском, куда призывает меня в настоящую минуту моя несчастная звезда; чего не дала бы я, чтобы никогда не уезжать оттуда и не возвращаться теперь. Я вам послала длинное

письмо с князем Вяземским; я хотела бы, чтобы вы его не получили: я была тогда в отчаянии, зная, что вас взяли, и была готова сделать любую неосторожность. Я видела князя в театре и лорнировала его в течение всего спектакля; я тогда надеялась рассказать вам о нем! Я была восхищена, увидев вашу сестру, она очаровательна. Знаете, я нахожу, что она очень на вас похожа. Не знаю, как я этого раньше не заметила. Скажите, прошу вас, почему вы перестали мне писать: что это — равнодушие или забывчивость? Какой вы гадкий! Вы не стоите, чтобы вас любили; мне много надо свести с вами счетов, но скорбь при мысли, что я вас больше не увижу, заставляет меня обо всем позабыть… А. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию и любит искренно и без зависти (sic). Прощайте, мои минувшие радости… Никогда в жизни никто не заставит меня испытать чувства и волнения, которые я испытала около вас. Мое письмо доказывает, какое доверие я питаю к вам. Я надеюсь, что вы меня не скомпрометируете и разорвете письмо, написав ответ».

Пушкин письма не разорвал и ответа, по-видимому, не написал. Анна Николаевна оказалась права в своих предчувствиях. Ее роман с Пушкиным безвозвратно кончился. Она понимала свое положение и едва решалась роптать на судьбу. Зато мать ее проявила со своей стороны гораздо меньше податливости. Письма Пушкина за 1826–1827 годы хранят следы малозаметной с первого взгляда, но упорной борьбы, которую ему пришлось выдержать, прежде чем Прасковья Александровна окончательно примирилась с мыслью, что отныне поэт может являться в Михайловском лишь сравнительно редким и случайным гостем.

Ее пришлось подготовлять к этой мысли постепенно. В упомянутой выше записке, посланной из Пскова, поэт еще обещает вернуться обратно при первой же возможности: «Как только я буду свободен, то со всею возможной поспеш-

ностью вернусь в Тригорское, к которому мое сердце отныне привязано навеки».

Но вот он очутился в Москве, и обещание мгновенно забыто. Прошло целых восемь дней, прежде чем он улучил время написать Прасковье Александровне несколько строк. Конечно, он был занят «делами». Вся Москва ликует по случаю коронации, недавний отшельник Пушкин не в силах справиться с нахлынувшим на него потоком новых, живительных впечатлений. Он переходит от одного триумфа к другому. Он, несомненно, вполне счастлив в эти первые, еще ничем не омраченные дни долгожданной свободы. Но, верный принятой на себя роли, он спешит уверить Прасковью Александровну, что московский шум и блеск нисколько не восхищают его. «Москва исполнена шума и празднеств до такой степени, что я уже чувствую себя усталым и начинаю вздыхать о Михайловском, т. е. иначе говоря, о Тригорском; я рассчитываю выехать самое позднее через две недели...» Письмо кончается уверениями в глубоком уважении и в неизменной преданности на всю жизнь и содержит поклон (один на двоих) по адресу m-lles Annettes.

Но вместо двух недель он задержался в Москве на целых полтора месяца. Успел опять влюбиться (в С. Ф. Пушкину) и, возвращаясь свободным в покинутую тюрьму Михайловского, писал с дороги княгине В. Ф. Вяземской: «С. П. — мой добрый ангел; но другая — мой демон! Это совершенно некстати смущает меня среди моих поэтических и любовных мечтаний».

Пушкин любил посвящать княгиню Веру в тайны своих сердечных дел. Имена барышень и даже замужних женщин, молодых и красивых (вроде, например, графини Воронцовой), он от нее не скрывал. И тем не менее она не поняла на этот раз его намека. «Неужели добрый ангел или демон вас до сих пор занимает? — спрашивала она в ответном письме. — Я думала, что вы давно отделались от них обоих. Кстати, вы так часто меняли ваш предмет, что я уже не знаю, кто это другая».

Н. О. Лернер полагает, что под прозвищем демона нужно разуметь здесь Анету Вульф. Но, конечно, добрейшая и безобиднейшая Анна Николаевна не имела решительно ничего демонического в отличие от своей властной и ревнивой матери.

Пушкин прожил в Михайловском до конца ноября, затем уехал в Псков, а около двадцатого декабря вновь очутился в Москве. Но Прасковья Александровна не хотела успокоиться и призывала его обратно: «…на новый год вы отдохнете и затем полетите из наших объятий навстречу новому веселью, новым удовольствиям и новой славе. Прощайте, я целую ваши прекрасные глаза, которые я так люблю. П. О.[10]».

Но Пушкин не отозвался на приглашение, Он даже, по-видимому, не ответил своевременно Прасковье Александровне и потому впоследствии был вынужден ссылаться на неисправность почты — вечная отговорка небрежных и забывчивых корреспондентов.

«Приехав в Москву, я к вам тотчас же написал, адресуя письма на ваше имя в почтамт. Оказывается, вы их не получили. Это меня обескуражило, и я больше не брался за перо. Так как вы еще удостаиваете интересоваться мною, то что сказать вам, сударыня, о моем пребывании в Москве и о приезде в ПБ? Бестолковость и несносная глупость наших обеих столиц равны, хотя и различного рода, и так как я претендую на беспристрастие, то скажу, что если бы мне пришлось выбирать между ними обеими, то я избрал бы Тригорское, — подобно тому, как Арлекин на вопрос о том, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным, ответил: я предпочитаю молочный суп».

Слова этого письма: «если вы еще удостаиваете интересоваться мною» и т. д. — указывают, по-видимому, что именно

---

[10] В. И. Сайтов, редактор академического издания переписки, отнес вслед за И. Л. Шляпкиным это письмо (от которого уцелел лишь приведенный выше отрывок), ко второй половине мая 1827 года. Но с этим трудно согласиться. П. А. Осипова вряд ли бы стала в мае гадать о встрече нового года. Прав, конечно, Лернер, датирующий письмо концом 1826 года.

в предыдущие месяцы распалась окончательно его связь с Прасковьей Александровной. Это не был полный и решительный разрыв. В общем, они разошлись мирно. Пушкин сохранил доброе отношение к семье Осиповых-Вульф до конца жизни, продолжал время от времени писать Прасковье Александровне почтительные и нежные письма и виделся с нею по крайней мере раз в год, а то и чаще. В 1828 и в 1829 годах он ездил гостить к Вульфам в Тверскую губернию. О его манере развлекаться там мы знаем из писем Пушкина к Алексею Николаевичу Вульфу.

27 октября 1828 г. (Малинники):

«Тверской ловелас С.-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает.

Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достодолжным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы гораздо хуже меня (в моральном отношении), и потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения на счет вашего петербургского поведения дал я с откровенностью и простодушием, отчего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как, например: "Какой мерзавец! Какая скверная душа!" Но я притворился, что я их не слышу. При сей верной оказии доношу вам, что Мария Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перло в море и что я намерен на-днях в нее влюбиться.

Здравствуйте! Поклонение мое Анне Петровне, дружеское рукопожатие баронессе etc.[11]».

16 октября 1829 г. (Малинники):

«Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не

---

[11] Анна Петровна Керн и баронесса С. М. Дельвиг находились в это время в связи с Вульфом.

встретились. То-то побесили бы баронов и простых дворян. По крайней мере, честь имею представить вам подробный отчет о делах наших и чужих.

I. В Малинниках застал я одну Ан. Ник. с флюсом и с Муром. Она приняла меня с обыкновенной своей любезностью и объявила мне следующее:

a) Евпр. Ник. и Ал. Ив. отправились в Старицу посмотреть новых уланов.

b) Александра Ивановна заняла свое воображение отчасти талией и задней частию Кусовникова, отчасти бакенбардами и картавым выговором Юргенева.

c) Гретхен хорошеет и час от часу делается невиннее (сейчас А. Ник. заявила, что она того не находит).

II. В Павловском Фредерика Ив. страждет флюсом; Пав. Ив. стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши стихи следующим образом:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И восполнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Не правда ли, что это очень мило?

III. В Бернове я не застал уже… Минерву. Она со своим ревнивцем отправилась в Саратов. Зато Netty, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Netty здесь. Вы знаете, что Меллер из отчаяния кинулся к ее ногам, но она сим не тронулась. Вот уже третий день, как я в нее влюблен.

IV. Разные известия. Поповна (ваша Кларисса) в Твери… Ив. Ив. на строгой диете (употребляет своих одалисок раз в неделю). Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю. Постараюсь достать (как памятник непорочной моей любви) сосуд, ею освященный. Сим позвольте заключить трогательное мое послание».

Приписка Анны Николаевны Вульф: «Не подумай, что я из любопытства распечатала Пушкина письмо, а оттого, что неловко сложено было».

А. Н. Вульфу эти визиты не особенно нравились. Он заносил у себя в дневнике: «Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники. Мне это весьма неприятно, ибо оттого пострадает доброе имя и сестры, и матери, а сестре и других ради причин это вредно»[12].

II

Приезд Пушкина в Москву осенью 1826 года совпал с апогеем его прижизненной славы. Никогда, ни прежде, ни после, у него не было так мало явных врагов и хулителей и так много усердных поклонников и друзей, как в это время. Никогда его так высоко не превозносили, никогда с такой горячностью не приветствовали. «Завидую Москве, — писал ему В. В. Измайлов, который в качестве журналиста может служить наилучшим представителем широко распространенных в обществе взглядов и суждений — она короновала императора, теперь коронует поэта… Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса».

Одна современница рассказывает: «Впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в Московском театре, можно сравнить только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Петрович Ермолов, только что оставивший Кавказскую армию. Мгновенно разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре; имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпой». Первое чтение «Годунова» вызвало бурю восторгов, слезы, объятия. Мицкевич

[12] Но он ошибался. Роман Пушкина как с Прасковьей Александровной, так и с Анной Николаевной был уже позади, и совсем другие женские образы занимали его воображение.

сравнил Пушкина с Шекспиром. Другие друзья не знали даже, с кем сравнивать поэта, и провозгласили его несравненным.

Совершенно естественно, что, при всей гордой уверенности в себе и в собственном таланте, он был очень доволен этими знаками исключительного внимания и восхищения и спешил насладиться сполна своею славой. Но очень скоро он заметил, что и в новых условиях существования, создавшихся для него, есть теневые стороны, число которых неукоснительно возрастало. И состояние духа его, первоначально совсем безоблачное, начало постепенно омрачаться. Наблюдатель, видевший Пушкина в Москве в начале 1827 года, очень тонко подметил этот момент перелома в его настроении:

«Судя по всему, что я здесь слышу и видел, Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются; отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому Аруэту собирались все, имевшие хоть немного здравого смысла в голове. Со всем тем Пушкин скучает! Так он мне сам сказал… Пушкин очень переменился наружностью: страшные, черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же — так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению».

А предметов для задумчивости, и притом довольно невеселого свойства, было много. Пушкин мог быть доволен размерами своего литературного успеха, но безнадежная тупость иных, даже льстивых, отзывов иногда приводила его в отчаяние. Он с горечью чувствовал себя непонятым в самом разгаре своей популярности. А эта последняя, к тому же, оказалась не слишком долговечной. Вскоре ядовитая и враждебная критика нашла случай возвысить свой голос среди недавно столь дружного хвалебного хора. И, как нарочно, нападкам подвергались наиболее зрелые и выношенные творения поэта, которые он особенно ценил.

Его положение перед лицом нового правительства было весьма двусмысленно и таило постоянную возможность

неприятных случайностей. Невзирая на неслыханные в тогдашней русской литературе высокие гонорары, денежные дела его были плохи. Он много играл в карты и почти всегда несчастливо.

«Во Пскове, вместо того чтобы писать седьмую главу “Онегина”, я проигрываю в штосе четвертую: не забавно», — сообщал он еще в конце 1826 года князю Вяземскому. «Вчерашний день был для меня замечателен, — записывал он 15 октября 1827 года, — приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате не хватало мне 5 рублей; я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 руб. и уехал очень недоволен сам собой». В 1829 году он признавался И. А. Яковлеву, что проиграл около двадцати тысяч.

Все годы, прошедшие между возвращением из Михайловского и женитьбой, ему не сиделось на месте. Большую часть этого времени он провел в Петербурге, но делал оттуда частые набеги в Москву, в Псковскую и в Тверскую губернии и, кроме того, совершил самое длинное путешествие в своей жизни, предприняв поездку в Эрзерум, к армии Паскевича, в рядах которой в это время находился его брат Лев Сергеевич. Но всего этого казалось ему мало и, несомненно, если бы от него зависело, то

… беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство —

завлекло бы его гораздо дальше. Он хлопотал перед генералом Бенкендорфом о позволении съездить за границу или о назначении в посольство, направлявшееся в Китай. Но его не отпустили.

Жить ему приходилось исключительно на холостую ногу, без всякого семейного уюта и без малейших удобств, то в гостиницах и трактирах, то у приятелей, вроде С. А. Соболевского,

у которого он поселился в Москве, в доме Ренкевича, на Собачьей площадке, будучи выпущен из Михайловского. Но у Соболевского было еще более шумно и беспокойно, нежели в любом трактире, и сам Пушкин сравнивал эту свою квартиру с полицейскою съезжей. «Наша съезжая в исправности, — писал он, — частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, б… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера». Пушкин невольно подчинялся привычкам и обыкновениям той совершенно беспутной компании, в которую попал, возмущая тем своих более солидных приятелей. «Досадно, — отмечал у себя в дневнике М. П. Погодин, — что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове». Это внешнее неблагообразие и неустроенность жизни, которую не удавалось изменить собственными силами, естественно породили желание основать собственный семейный очаг, свить свое гнездо, желание, вылившееся, между прочим, в стихотворении «Дорожные жалобы».

Развлечений, порою весьма бурных и шумных, было сколько угодно у Пушкина за эти годы, но осадком их, неизменно скоплявшимся на дне души, были тоска и скука. «В Петербурге — тоска, тоска…» — лаконической запиской извещает он С. Д. Киселева. Как напоминают эти слова известный припев, повторяющийся в «Путешествии Онегина».

Впрочем, помимо усталости и пресыщения и независимо от опостылевшего внешнего беспорядка и неурядицы, тоска, которую творец «Онегина» передал по наследству своему детищу, имела в этом периоде еще одну, более глубокую и, быть может, не вполне осознанную причину. То было сожаление о неудержимо уходящей молодости. Пушкин вообще созревал очень рано. До срока перестал быть мальчиком и превратился во взрослого молодого человека; до срока распрощался с первоначальной, беззаботной юностью. Уже во время заточения в Михайловском он был далеко не молод душою. И последние вспышки былого огня печально догора-

ли в промежутке между 1826 и 1830 годом. Это очень рельефно показано в повествовании Ксенофонта Полевого о его встречах с Пушкиным:

«Перед конторкой стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими нижнюю часть его щек и подбородка, с кучею кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось… Прошло еще несколько дней, когда однажды утром я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской в доме князя Гагарина… Там занимал он довольно грязный нумер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставал его потом утром в Москве и Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом».

Это впечатление относится еще к 1826 году. Два года спустя Полевой нашел Пушкина в Петербурге, и те же черты его наружности и образа жизни бросились ему в глаза еще определеннее:

«Он жил в гостинице Демута, где занимал бедный нумер, состоявший из двух комнаток, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в своей постели, а когда к нему приходил гость, он вставал, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда я заставал его за другим столиком — карточным — обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя. Известно, что он вел довольно сильную игру и всего чаще продувался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью. Зато он бывал удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его суждения

и замечания невольно врезывались в память. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне: "Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен: я не дорожу ими; но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня..." Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к высоко аристократическому кругу. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его как законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода Листа или Серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так как он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места... В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости и после тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице, но все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

Ужель мне точно тридцать лет?

Он тотчас возразил: "Нет, нет, у меня сказано: ужель мне скоро тридцать лет. Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью". Надо заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев. Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если он иногда бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго».

Весьма вероятно, что мысль о приближающейся осени жизни и внушила Пушкину решение жениться, выразившееся в нескольких, на первых порах еще неудачных, попытках, имевших место вскоре после возвращения из ссылки.

III

В предыдущие годы Пушкин был не особенно выгодного мнения о браке и, во всяком случае, считал его для себя совсем неподходящим. Многочисленные увлечения его, нами доселе рассмотренные, нисколько не были связаны с матримониальными планами. Еще в мае 1826 года он с некоторою тревогой спрашивал князя Вяземского: «Правда ли, что Боратынский женится? Боюсь за его ум. Законная… род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если б лет еще десять был холостой. Брак холостит душу».

И вот каких-нибудь семь месяцев спустя в мыслях его об этом предмете происходит решительный поворот. В первый раз в жизни ему пришла охота жениться. В письме к В. П. Зубкову, свояку будущей невесты, он излагает красноречивые доводы в пользу своего нового решения:

«Дорогой Зубков, вы не получили письма от меня, и вот этому объяснение: я сам хотел 1 декабря т. е. сегодня, прилететь к вам, как бомба, так что выехал тому 5–6 дней из моей проклятой деревни на перекладной ввиду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу двигать рукою. Взбешенный, я играю и проигрываю. Но довольно: как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой.

Ваши два письма прелестны. Мой приезд был бы лучшим ответом на размышления, возражения и т. д. Но так как я, вместо того чтобы быть у ног Софи, нахожусь на постоялом дворе в Пскове, то поболтаем, т. е. станем рассуждать.

Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Вы мне говорите, что оно не может быть вечным: прекрасная новость! Не мое личное счастье меня тревожит, — могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, — я трепещу, лишь думая о судьбе, быть может, ее ожидающей, — я трепещу

перед невозможностью ее сделать столь счастливой, как это мне желательно. Моя жизнь, такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый — вот что внушает мне тягостное раздумье.

Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным… Дорогой друг, постарайтесь изгладить дурное впечатление, которое мое поведение могло на нее произвести. Скажите ей, что я разумнее, чем имею вид… Что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке; что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее, как невозможно впоследствии найти ее еще прекраснее, ибо прекраснее быть невозможно… Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня». Все невесты, которых Пушкин намечал себе за эти годы, относятся приблизительно к одному и тому же типу: молоденькие барышни из хорошего московского или Петербургского общества, красивые, интересные, превосходно воспитанные, в отличие от несколько неуклюжих и жеманных тригорских соседок. Но вместе с тем это совсем юные существа, с еще не сложившейся индивидуальностью, мотыльки и лилеи, а не взрослые женщины. Таковы Софья Федоровна Пушкина, Екатерина Николаевна Ушакова, Анна Алексеевна Оленина и, наконец, Наталья Николаевна Гончарова, которая и стала в конце концов женой поэта.

Сватовство к С. Ф. Пушкиной не имело успеха, и вскоре эта девушка была официально объявлена невестой скверного Панина. Поэт, который, казалось, еще недавно весь горел страстью к ней, необычайно быстро утешился и никогда впоследствии не вспоминал о своей попытке. Образ С. Ф. Пушкиной никак не отразился в его поэзии, а имя ее он поместил лишь во второй, дополнительной части Донжуанского спис-

ка. Ее ближайшая преемница Ек. Н. Ушакова, по крайней мере, в этом отношении оказалась несколько счастливее.

Дом Ушаковых на Пресне был одним из самых веселых, хлебосольных и гостеприимных в целой Москве. Многими чертами своего быта эта семья напоминала Ростовых из «Войны и мира». Пушкин постоянно появлялся здесь во время своих приездов в заштатную столицу. Из двух сестер Ушаковых младшая — Елизавета — была красивее, но Пушкин заинтересовался старшею — Екатериной. Одна московская жительница писала в 1827 году о барышнях Ушаковых: «Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, т. е., сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва, а глас народа — глас Божий. Еще не видевши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что N., на балах, на гуляньях он говорит только с нею, а когда случается, что в собрании N. нет, Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его… Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами “Черную шаль”, и “Цыганскую песню”, на фортепьянах его “Талисман”… В альбомах несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке вечно вертится имя Пушкина».

Но молва обманулась в своих предсказаниях. Пушкин так и не собрался сделать предложение. В мае 1827 года он уехал в Петербург и до самого декабря следующего года не показывался в Москве. Новое девичье личико завладело его фантазией, и он готов был простить Петербургу его холод, гранит скуку, даже его дух неволи, потому что там

Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Обладательница этой ножки и этого локона, Анна Алексеевна Оленина, была дочерью Алексея Николаевича Оленина и Елизаветы Марковны, урожденной Полторацкой, и приходилась таким образом двоюродной сестрой А. П. Керн. А. Н. Оленин состоял директором Публичной библиотеки и президентом Академии Художеств. Это был человек любезный и просвещенный, с большим артистическим вкусом, искусный рисовальщик, украсивший своими заставками и виньетками первое издание «Руслана и Людмилы». Он давно знал и ценил Пушкина, но вряд ли особенно обрадовался, услышав, что влюбленный поэт готовится не на шутку сделать предложение его дочери. Намерения у Пушкина были самые серьезные. В тетрадях его, относящихся к тому времени, то и дело повторяется анаграмма имени и фамилии Олениной: Etenna, Aninelo и т. д. П. Е. Щеголев разобрал даже тщательно зачеркнутые слова Annette Pouchkine.

Мы не знаем достоверно, почему Пушкин не исполнил своего плана. В обществе ходили слухи, что поэт сватался и получил отказ, так как мать девушки ни за что не хотела этого брака. Художник Железнов в своих неизданных воспоминаниях, принадлежащих ныне Пушкинскому Дому, сообщает со слов академического гувернера Н. Д. Быкова другую версию, быть может, более правдивую.

«Пушкин посватался и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов; но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем что Анна Алексеевна осталась без жениха».

Получив отказ от родителей Олениной или сам отступив в последнюю минуту, немножко наподобие гоголевского

Подколесина, Пушкин в конце года вернулся в Москву с намерением возобновить свои ухаживания за Ек. Н. Ушаковой. Но здесь ожидала его новая неудача. «При первом посещении пресненского дома, — рассказывает племянник Екатерины Николаевны Н. С. Киселев, — узнал он плоды своего непостоянства: Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д-го. “С чем же я-то остался?” — вскрикивает Пушкин. “С оленьими рогами”, — отвечает ему невеста. Впрочем, этим не окончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения от Д-ом, он упрашивает Н. В. Ушакоза [отца невесты] расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были очень явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин попрежнему остался другом дома».

Чрезмерно пылкого чувства не было ни у Пушкина, ни у Екатерины Николаевны. Но, несомненно, их связывала обоюдная симпатия. Впоследствии, когда Ек. Н. Ушакова сделалась г-жой Наумовой, молодой муж сильно ревновал к ее девичьему прошлому, уничтожил браслет, подаренный ей поэтом, и сжег все ее альбомы. Зато, к удовольствию пушкинианцев, альбом ее сестры Елизаветы Николаевны благополучно сохранился. Он особенно для нас любопытен, ибо именно здесь, среди многочисленных карикатур, изображающих Пушкина, А. А. Оленину и барышень Ушаковых, находятся обе части Донжуанского списка. Ек. Н. Ушакова попала в первую часть в качестве Катерины IV. Тотчас же за нею следует Анна, по предположению Н. О. Лернера, Анна Петровна Керн. Но, принимая во внимание подшучивания Ушаковых над неудачным сватовством Пушкина к Олениной, можно с уверенностью допустить, что это ей досталось предпоследнее место в списке, непосредственно перед Натальей Гончаровой.

Это имя приводит нас к тому из увлечений Пушкина, которое имело наиболее сильное и наиболее роковое влияние на его дальнейшую судьбу. Но предварительно нужно сказать

несколько слов еще об одной женщине, довольно замечательной, с которой поэту довелось столкнуться в 1828 году, незадолго до знакомства с Гончаровой.

Имя Аграфены находится во второй части Донжуанского списка, и совершенно правильно, ибо никакой особо заметной роли не сыграла в жизни Пушкина его носительница. Здесь не было настоящей любви, не было, по-видимому, даже искреннего, хотя бы мимолетного увлечения, но имело место лишь острое психологическое любопытство, интерес художника-наблюдателя к женщине бурных страстей и далеко не заурядного характера. В черновых, подготовительных редакциях «Египетских ночей» Пушкин пытался обрисовать тип современной Клеопатры. Это ему не удалось, и в конце концов он пошел другим путем. Но с точки зрения первоначального замысла трудно было найти лучшую натурщицу, нежели та, о которой он писал:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О, жены севера, меж вами
Она является порой,
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил, —
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Графиня Аграфена Федоровна Закревская, очерченная в этих стихах, была женою графа Арсения Андреевича — финляндского, а впоследствии московского военного генерал-губернатора, одного из видных деятелей николаевского царствования. Она славилась в свете своей красотой, бурным темпераментом, многочисленностью любовных похождений и дерзкой, вызывающей смелостью, с которой она афишировала свой образ действий. Князь Вяземский прозвал ее медной Венерой. О цинизме ее рассказывали чудеса. Кроткие, благонравные души, вроде С. Т. Аксакова, глядели на нее по-

чти с ужасом. Но весь нравственный облик ее, такой порывистый и страстный, необычайно понравился Пушкину, которого она приблизила к себе летом 1828 года и сделала поверенным своих тайн. «Я пустился в свет, потому что бесприютен, — писал Пушкин Вяземскому. — Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня всегдашняя склонность и нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей, намеренье благое, да исполнение плохое)[13]».

В таких выражениях писал Пушкин о своем знакомстве с Закревской прозой в интимном письме к приятелю. А вот как развил он ту же тему на языке богов, т. е. в стихах:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты.

На этом сопоставлении чрезвычайно ярко обнаруживается неустранимая двойственность, заложенная в натуре Пушкина, разительный контраст между тайноведением поэта и точкой зрения человека.

А. Ф. Закревской посвящены также стихотворение 1828 года «К ***» («Счастлив, кто избран своенравно») и, по весьма

---

[13] Шутливый намек Пушкина на журнал В. В. Измайлова «Благонамеренный» может быть понят только в сопоставлении с предыдущим письмом князя Вяземского: «В нашем соседстве есть Бекетов… добрый, образованный человек… Но лучше всего то, qu’il extend malice a votre vers:

С Благонамеренным в руках

И полагает, что ты суешь в ручки дамские то, что у нас…»

правдоподобной догадке П. А. Морозова, известные стихи, относимые большинством комментаторов к А. П. Керн:

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва и т. д.

IV

Подробное изображение любви Пушкина к Н. Н. Гончаровой и всей их последующей семейной жизни не входит в задачи настоящей работы, предметом коей является сердечная жизнь Пушкина до женитьбы. Брак с Гончаровой кладет основную грань в биографии поэта и является началом совершенно нового периода. Женатый Пушкин, Пушкин супруг и глава семьи, потребовал бы для своего изображения другой книжки, нисколько не меньшей размерами, нежели предлагаемая. Мы же ограничимся здесь лишь немногими общими замечаниями.

Увлечение поэта Н. Н. Гончаровой и история его последнего сватовства во многом напоминают аналогичные случаи, когда он искал руки С. Ф. Пушкиной и А. А. Олениной. Индивидуальные отличия, успевшие впоследствии сказаться у этих трех девушек, после того как они вышли, замуж, не должны нас смущать. Гораздо существеннее то, что общая формула отношений была приблизительно одинакова: Пушкин мгновенно пленялся внешней красотой и миловидностью, тем обликом свежести, юности и quasi-ангельской невинности, который бросался ему в глаза при первых встречах. Полюбив, он сразу делает предложение, словно боится упустить удобную минуту и преждевременно остынуть. Опасение далеко не напрасное, ибо любовь его, вначале столь пылкая и нетерпеливая, быстро улетучивается после решительного отказа. Так было с С. Ф. Пушкиной и с А. А. Олениной. То же самое могло повториться и с Н. Н. Гончаровой. Вторично посватавшись за нее в 1830 году и добившись на сей раз удовлетворительного ответа, Пушкин вдруг начинает ко-

лебаться. Он уже готов не без удовольствия мечтать о поездке за границу, в случае если ему все-таки в конце концов откажут. Но семья Гончаровой боится пренебречь женихом, который не требует никакого приданого, и отныне участь его решена.

Отметим также, что во всех трех случаях Пушкин не старался узнать поближе девушку, намеченную им в жены, и не хотел предоставить ей возможность в свою очередь узнать и полюбить его. Об ее согласии, об ее сердечной склонности он как будто даже не особенно заботился, стремясь главным образом заручиться согласием ее родителей и близких. Екатерина Ник. Ушакова стоит в этом смысле несколько особняком. Пушкин часто бывал в их доме. Независимо даже от нежных чувств и помыслов о женитьбе, с Екатериной Николаевной его связывала простая, хорошая дружба. Несомненно, что в 1829 году он был душевно гораздо ближе к Ушаковой, нежели к Н. Н. Гончаровой, которую начал по настоящему узнавать лишь тогда, когда она приняла фамилию Пушкиной. И вот замечательно, что именно в отношении Екатерины Николаевны он проявляет всего больше осторожности и медлительности: ездит в гости в продолжение долгих месяцев (а в те времена частые визиты холостого молодого человека в дом, где были барышни на выданье, имели совершенно определенный смысл), но никак не может собраться сделать формальную декларацию. Очевидно, он знал себя и потому так спешил венчаться с Гончаровой. Иначе, откладывая решение со дня на день, он рисковал навеки остаться неженатым.

А он хотел жениться, чтобы наконец узнать счастье. Ибо до сих пор счастья не знал. Красота, молодость, свежесть, душевная нетронутость казались ему непременными для того условиями. О прочем он мало заботился, убежденный, что сумеет образовать юную жену сообразно своему идеалу.

Идеал был у него весьма определенный и ко времени женитьбы уже окончательно сложившийся. То был идеал

Мадонны, конечно. Но притом великосветской Мадонны. Дьявольская разница — можно сказать, пользуясь любимым выражением Пушкина. Мадонна или ангел. Этот последний эпитет Пушкин охотно давал всем женщинам, которых любил. При всей трафаретности этого привычного обращения, в нем содержится намек на те черты женской природы, которые всего сильнее манили Пушкина.

Но при всем том ангел непременно должен быть безукоризненно воспитан. В характере и в манерах его казалось непозволительным все то,

Что в высшем Лондонском кругу
Зовется vulgar…

Даже Татьяна, милая, нежная, искренняя Татьяна достигает пределов совершенства в глазах Пушкина лишь тогда, когда пребывание в высшем свете наложило на нее свой отпечаток.

Рассказывают, что поэт Джон Бернс, шотландский Кольцов, первую половину своей жизни прожил в деревне, в крестьянской среде. Там написал он свои лучшие произведения. Затем пришла слава, распахнувшая перед ним двери аристократических салонов Эдинбурга. Спрошенный однажды, в чем заключается наиболее заметное отличие высшего общества от остальных классов, он ответил: «Мужчины более или менее везде одинаковы. Но молодая, изящная светская женщина — совсем особенное, чудесное существо, которого нельзя встретить в деревне, да и нигде вообще, кроме большого света».

Пушкин, конечно, подписался бы под этими словами Бернса. Если он так дорожил своей принадлежностью к аристократическому кругу, если так упорно и настойчиво он стремился занять в нем место, то, разумеется, скорее ради женской, нежели ради мужской его половины. Он любил тип светской женщины, как поэт и художник. Но он, кажется, не подозревал, что тип этот осуществляется лишь постоянным

усилием искусства, очень утонченного, очень разнообразного и гибкого, способного доставить знатоку не меньше рафинированных наслаждений, нежели живопись, музыка или театр, к которому искусство это стоит всего ближе. Но, бывая в театре, лучше оставаться в зрительном зале и не заглядывать за кулисы. Иначе иллюзия исчезнет.

Кроме того, Пушкин, остановив свой выбор на Наталье Николаевне Гончаровой, упустил одно обстоятельство первостепенной важности. Он забыл, что с успехом играть роль на великосветской сцене может только женщина, обладающая живым, разносторонним и восприимчивым умом. Но, как нарочно, именно ума не получила в дар от щедрой во всех прочих отношениях природы простодушная Натали.

Далее случилось то, что и должно было случиться.

В домашней, повседневной жизни ангел явился капризным, взбалмошным, требовательным, суетным, вздорным существом. Но это было еще полбеды. Гораздо хуже оказалось то, что спокойного женственного достоинства, которое Пушкин превознес в лице Татьяны, не хватало его супруге. В наиболее трудных и рискованных положениях, во всех тех случаях, когда недостаточной оказывалась обычная светская дрессировка, усвоенная с детства, и нужна была собственная находчивость, собственное чувство такта, Наталья Николаевна не умела себя держать и делала один ложный шаг за другим. Она кокетничала с государем, потом с Дантесом. Прококетничала жизнь своего гениального мужа.

Говорят, ревность сгубила Пушкина. Это мнение, конечно, справедливо, но требует некоторых оговорок.

Ревность Пушкина нельзя сопоставлять с ревностью Отелло, как это неоднократно делалось. Венецианский мавр был доверчив и слеп. Сперва верил в любовь своей жены, потом поверил в ее измену. Пушкин, напротив, при необычайно ревнивом нраве и большой подозрительности, не допускал мысли, что Наталья Николаевна изменила ему с Дантесом.

Но он не мог не видеть, что она держит себя недостаточно тактично и осторожно с дерзким молодым кавалергардом. И это зрелище было для него нестерпимо. Отвергая правдивость городских толков о падении Натальи Николаевны, он приходил в бешенство, когда отзвуки их достигали его слуха. Наталья Николаевна не умела поставить наглеца на надлежащее место. В таком случае это сделает он, ее муж!

В ухаживаниях Дантеса, пусть неудачных, он видел личное для себя оскорбление. Еще бы! Ведь по собственному опыту он знал, что можно волочиться за женщиной совершенно спокойно и цинично, без тени уважения к ней; и он хорошо помнил, что роль обманутого мужа (такая трагическая по существу) навеки останется смешною в людских глазах. Вероятно, ему приходили на память фигуры А. Л. Давыдова, Ризнича, Воронцова, Керна, Закревского и других злополучных супругов, которых жены обманывали при его собственном участии или при участии его друзей. И он дал себе слово не уподобиться даже в глазах света этим жалким людям. Его положение напоминало отчасти положение Мольера, который после стольких насмешек над рогатыми мужьями должен был сам принять рога, которыми наделила его Арманда Бежар. Но камер-лакей Людовика XIV проявил больше покорности судьбе, нежели камер-юнкер Николая I.

Глава седьмая

I

Теперь нам предстоит рассмотреть один из самых запутанных вопросов в душевной биографии Пушкина. В предыдущих главах мы не раз касались его мимоходом, но здесь вопрос этот должен быть поставлен полностью.

Осенью 1828 года Пушкин с необычной для него быстротой создал поэму «Полтава». Немедленно после окончания ее он выехал в Малинники — Тверское имение Вульфов — и там 27 октября набросал у себя в черновой тетради посвящение поэмы, которое в первоначальной редакции, несколько разнящейся от окончательного печатного текста, читалось так:

Тебе… Но голос Музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймёшь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего,
Иль посвящение поэта,
Как утаенная любовь,
Перед тобою без привета
Пройдет непризнанное вновь?
Но если ты узнала звуки
Души, приверженной тебе,
О, думай, что во дни разлуки
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей.
Одно сокровище, святыня,
Для сумрачной души моей.

Посвящение озаглавлено «Тебе». Перед заголовком красуется нечто в роде эпиграфа: I love this sweet name (я люблю это нежное имя); рядом, на той же странице и на соседней, несколько исчерканных набросков, из которых создался перебеленный текст посвящения.

Кто носил это нежное имя и как звучало оно? Об этом Пушкин хранит глубокое молчание даже в черновых своих тетрадях. И эта чрезвычайная сдержанность неминуемо приводит на память таинственные литеры NN Донжуанского списка. Как нельзя более вероятно, что «Полтава» посвящена той, которую поэт не захотел назвать полным именем, перечисляя объекты своих былых увлечений.

Через всю лирическую поэзию Пушкина с 1819 года и до времени, когда писалась «Полтава», проходят воспоминания о какой-то сильной, глубоко затаенной и притом неудачной, неразделенной любви. Всего яснее высказывается он об этом в «Разговоре книгопродавца с поэтом».

Книгопродавец

…но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? Какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя…
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь — одна ли, две ли ночи?

....

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца дикими лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужны ей.

(1824 г)

Кое-какие намеки попадаются и в строфах «Онегина»:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки: только вряд

Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки!.. Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Когда и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах ножки, ножки! Где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге
На северном печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы, и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет –
Как на лугах ваш легкий след.
(Глава первая; строфы XXX–XXXI)

И в четвертой главе:

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета,
Как сон, забыты мной давно.
Но есть одна меж их толпою…
Я долго был пленен одною…
Но был ли я любим, и кем,
И где, и долго ли?... Зачем
Вам это знать? Не в этом дело!
Что было, то прошло, то вздор;
А дело в том, что с этих пор
Во мне уж сердце охладело.
Закрылось для любви оно,
И в нем и пусто, и темно.
(Глава четвертая; строфа III)

Этими строками Пушкин как бы ставил предел любопытству своих будущих биографов. Но, конечно, они не могли примириться с подобным ограничением. Относительно неизвестной женщины, внушившей поэту неразделенную и так долго продолжавшуюся страсть, было высказано много догадок. В кругах, занимающихся изучением Пушкина, доныне памятен турнир, во время которого паладинами двух давным-давно умерших и истлевших в могиле красавиц выступили два современных исследователя и критика — М. О. Гершензон и П. Е. Щеголев.

Оба они согласны в том, что и приведенные выше строки «Разговора», и любовный бред «Бахчисарайского фонтана», и посвящение «Полтавы» относятся к одной и той же особе. Однако что касается имени ее, то им не удалось прийти к соглашению.

Гершензон, исходя из засвидетельствованного стихами и для него несомненного факта северной любви Пушкина, высказал предположение, что объектом этой любви была княгиня Мария Аркадьевна Голицына, урожденная княжна Суворова-Рымникская. От княгини Голицыной, находясь еще в Петербурге, Пушкин якобы слышал легенду о Марии Потоцкой, обработанную им впоследствии в поэме «Бахчисарайский фонтан». С воспоминанием о Голицыной, по мнению Гершензона, связаны также элегии: «Умолкну скоро я» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет» и, кроме того, послание «Давно о ней воспоминанье».

Комментируя эти три стихотворения, Гершензон полагал возможным воссоздать психологический портрет княгини Марии Аркадьевны и подробно характеризовать чувство, которое она внушила Пушкину.

Путем подробного анализа биографических данных и черновых Пушкинских рукописей Щеголев убедительно доказал, что обе элегии не относились и не могли относиться к Голицыной. Что же касается послания, несомненно, к ней

адресованного, то оно лишено каких бы то ни было любовных элементов[14].

Но Щеголев не пожелал на этом остановиться. Он выдвинул свою собственную гипотезу, которая ему представляется неопровержимой. Ключ к загадке он нашел в переписке Пушкина с А. А. Бестужевым и другими лицами по поводу «Бахчисарайского фонтана и некоторых лирических пьес, связанных с Крымом.

Проследим аргументацию Щеголева.

Летом 1823 года в публике впервые разнеслись слухи о новой поэме Пушкина. В распространении их оказался виновен поэт В. И. Туманский, служивший в канцелярии Воронцова и встретившийся с Пушкиным во время его первого наезда в Одессу. Пушкин писал по этому поводу брату: «Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет, например, он пишет в Пб. письмо обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и portefeuille, любовь и пр… фраза достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать потому, что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает в Шаликовы — помогите!» Письмо заканчивается припиской: «Так и быть, я Вяземскому пришлю «Фонтан», выпустив любовный бред, — а жаль!»

В самом конце 1823 года в свет вышел альманах «Полярная звезда», издававшийся Бестужевым и Рылеевым. Пушкин получил книжку в начале января и с неудовольствием увидел, что здесь напечатана доставленная кем-то Бестужеву элегия

[14] Надо думать, что доводы Щеголева отчасти подействовали на Гершензона. По крайней мере, в книге «Мудрость Пушкина», где перепечатана большая часть статьи «Северная любовь», нет никаких упоминаний о Голицыной.

«Редеет облаков летучая гряда», причем воспроизведены и три последние стиха, которых поэт почему-то ни за что не хотел отдавать в печать:

Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

Огорченный Пушкин писал Бестужеву: «Конечно, я на тебя сердит и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра: ты не знаешь, до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов элегия не имела бы смысла. Велика важность! А какой же смысл имеет:

Как ясной влагою полубогиня грудь
……………………………..…вздымала[15].

Или:

С болезнью и тоской
Твои глаза, и проч.?

Я давно уже не сержусь за опечатки, но в старину мне случалось забалтываться стихами, и мне грустно видеть, что со мной поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности».

В черновике этого письма находим еще одну подробность: «Ты напечатал те стихи, об которых именно просил тебя не выдавать их в п. Ты не знаешь, до какой степени это мне досадно. (Они относятся писаны к женщине, которая читала их)».

Письмо Пушкина разошлось с письмом Бестужева, в котором последний сообщал об успехе «Бахчисарайского фонтана» в литературных кругах Петербурга и просил у Пушкина новых стихов для очередной, будущей книжки «Полярной звезды». Пушкин отвечал: «Ты не получил видно письма моего. Не стану повторять то, чего довольно и на один раз».

[15] Так Бестужев напечатал «Нереиду», заменив черточками слова «младую, белую, как лебедь».

Коснувшись далее своей поэмы, он добавил: «Радуюсь, что мой “Фонтан” шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naive.

Впрочем, я его писал единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны».

Очевидно, Пушкину было суждено вечно страдать от нескромности журналистов. Письмо, адресованное Бестужеву, попало в руки пронырливого Булгарина. Он распечатал его и приведенные выше строки тиснул в своих «Литературных листках», в заметке, посвященной ожидаемому выходу в свет «Бахчисарайского фонтана». Пушкин вспылил: «Булгарин хуже Воейкова, — пишет он в сердцах, — как можно печатать партикулярные письма? Мало ли что приходит на ум в дружеской переписке, а им бы все печатать — это разбой».

Но среди лета раздражение его немного остыло. В письме от 29 июня того же года он сравнительно мягко выговаривает Бестужеву: «Милый Бестужев, ты ошибся, думая, что я сердит на тебя — лень одна мешала мне отвечать на последнее твое письмо (другого я не получал). Булгарин — другое дело. С этим человеком опасно переписываться. Гораздо веселее его читать. Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюбленну без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, как другой… Но приятельское ли дело вывешивать напоказ мокрые мои простыни? Бог тебя простит, но ты осрамил меня в нынешней “Звезде”, напечатав три последние стиха моей элегии. Черт дернул меня написать, кстати, о “Бахчисарайском фонтане” какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотой беседую об ней с одним из Пб. моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо рас-

печатано и напечатано Булгариным, что проклятая элегия тебе доставлена черт знает кем и что никто не виноват. Признаюсь, одною мыслью этой женщины дорожу более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась».

«Итак, — говорит Щеголев, — с полной достоверностью можно отожествить деву юную, искавшую во мгле вечерней звезды, с той женщиной, рассказ которой суеверно перелагал в стихи Пушкин. Но все содержание, вся обстановка в элегии, писанной в 1820 году в Каменке, приводит нас в Крым и еще определеннее в семью Раевских».

Поименовав затем всех четырех сестер, он останавливает свой выбор на предпоследней из них — Марии. Это она была предметом тайной любви Пушкина, и в ее честь написан любовный бред «Бахчисарайского фонтана» и даже вся эта поэма в целом. На нее намекают заключительные строки:

И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной.

Заметим от себя, что Мария Раевская, посетившая бахчисарайский дворец одновременно с Пушкиным, была, собственно говоря, не «летучей тенью», а вполне реальной, живой девушкой; но Щеголев толкует эти стихи по-своему: «Эта дева, — говорит он, — мелькавшая по дворцу летучей тенью перед поэтом, сердце которого не могла тронуть в то время старина Бахчисарая, — образ реальный и не мечтательный. Она была тут, во дворце, в один час с поэтом, и сердце его было полно ею».

Два современника Пушкина, довольно хорошо его знавшие, хотя они не принадлежали к числу его ближайших друзей, говорят о влиянии образа Марии Раевской на его поэзию.

Польский магнат Густав Олизар в своих «Воспоминаниях» определенно утверждает, что «Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской». Указание ясное, но оно теряет кое-что из своей убедительности по той причине, что

бедный граф, поэтически настроенный и не чуждый стихотворству, сам был без ума влюблен в Марию Николаевну. Он искал ее руки и, получив отказ, был неутешен. Мысль об отвергнувшей его возлюбленной, не давала ему покоя в течение многих лет. Свое обожание он мог бессознательно ссудить и Пушкину. Другой современник — В. И. Туманский, тот самый, которому Пушкин одному из первых прочел «Бахчисарайский фонтан» летом 1823 года, — менее категоричен. Он писал из Одессы своей кузине в декабре того же года: «У нас гостят теперь Раевские и нас к себе приглашают. Вся эта фамилия примечательна по редкой любезности и по оригинальности ума. Елена сильно нездорова; она страдает грудью и, хотя несколько поправилась теперь, но все еще похожа на умирающую. Она никогда не танцует, но любит присутствовать на балах, которые некогда украшала. Мария — идеал Пушкинской черкешенки [собственное выражение поэта] — дурна собою, но очень привлекательна остротою разговоров и нежностью обращения».

Говоря о черкешенке, Туманский, несомненно, что-то путает. Основываться на его словах было бы неосторожно. Иначе, однако, думает Щеголев: «Это свидетельство Туманского о Марии, — пишет он, — допускает два толкования, и примем ли мы то или иное толкование, его биографическая важность не уменьшится. Для нас не совсем ясно, кого имел в виду указать Туманский: черкешенку ли, героиню “Кавказского пленника”, или грузинку поэмы, слышанной им в чтении самого автора, ошибочно назвав ее в последнем случае черкешенкой. Ошибка вполне возможная. Если верно первое, то мы имеем любопытную и ценную подробность к истории создания первой южной поэмы и к истории возникновения сердечного чувства Пушкина. Но если бы было верно второе предположение об ошибке в названии, тогда мы имели бы не менее ценное свидетельство к истории создания “Бахчисарайского фонтана”; правда, несколько неожиданным показалось бы

отожествление Марии Раевской не с кротким образом Марии, а со страстным — Заремы».

«Нельзя не указать и на то, — продолжает Щеголев немного ниже, — что, набрасывая для детей в конце 50-х годов свои записки и перебирая в памяти стихи, написанные для нее Пушкиным, кн. Волконская приводит и стихи из поэмы. Позже в “Бахчисарайском фонтане” Пушкин сказал:

…ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

Но ведь эти стихи как раз из характеристики грузинки, о ней говорит поэт:

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи и т. д.

Все эти соображения позволяют нам предполагать в письме Туманского ошибочность упоминания черкешенки вместо грузинки и, следовательно, допускать, что именно Мария Раевская была идеалом Пушкина во время создания поэмы».

В заключение Щеголев ссылается на графа П. И. Капниста, который, правда, писал с чужих слов, но который из надежных источников был осведомлен о жизни Пушкина на юге. «Я слышал, — рассказывает Капнист, — что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени с его семейством в Гурзуфе, когда писал свой “Бахчисарайский Фонтан”[16]. Мне говорили, что впоследствии, создавая “Евгения Онегина”, Пушкин вдохновился этой любовью, которой он пламенел в виду моря, лобзающего прелестные берега Тавриды, и что к предмету именно этой любви относится художественная строфа, начинающаяся стихами: “Я помню море пред грозою” и т. д.»

---

[16] Ошибка: «Бахчисарайский фонтан» писан позднее.

«Но княгиня Волконская в записках, — прибавляет Щеголев, — а до их появления в печати Некрасов в “Русских женщинах” рассказали те обстоятельства, при которых были сосозданы эти стихи».

Вывод, пока еще только предполагаемый, из всего сказанного выше гласит, что образ Марии Раевской стоит в центре «Бахчисарайского фонтана» и что она была вдохновительницей поэмы. Ее бесхитростный рассказ о «Фонтане слез» Пушкин суеверно перекладывал в стихи.

Дабы заставить своих читателей принять этот вывод, Щеголеву надо было преодолеть два препятствия.

Во-первых, Гершензон заметил, что бахчисарайское «преданье старины» было впервые слышано Пушкиным еще в Петербурге. На это указывает черновой набросок пролога к поэме:

Н. Н. Р.

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ.
Давно печальное преданье
Поведали мне в первый раз.
Тогда я в думы углубился;
Но ненадолго резвый ум,
Забыв веселых оргий шум,
Невольной грустью омрачился.
Какою быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья:
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгом наслажденья.

Гершензон совершенно справедливо утверждает, что в этих стихах содержатся ясные указания на обстановку петербургской жизни Пушкина («Веселых оргий шум»), и Щеголев не отвергает этих указаний. Но он толкует их по своему, и измаранные Пушкинские черновики приходят в данном случае к нему на помощь. Инициалы, поставленные вместо заголовка, означают, конечно, Николая Николаевича Раев-

ского-младшего, которому, вслед за «Кавказским пленником», должен был быть посвящен также и «Фонтан». Среди зачеркнутых строк Щеголев прочитал:

Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз.

Вместо «поведали мне первый раз». Конечно, всего правдоподобнее было бы предположить, что слова эти в силу простой случайности сорвались с пера у Пушкина и что он поспешил их исправить, ибо они не соответствовали действительности. Однако Щеголев думает иначе. Ему во что бы то ни стало найти подкрепление для своего тезиса, и на основании зачеркнутой строки он с торжеством заключает: «Итак, нам теперь совершенно ясно фактическое указание, заключающееся в отрывке, и, следовательно, теряет всякое основание выставленное Гершензоном предположение о том, что ту версию легенды, которая вызвала появление самой поэмы, слышал Пушкин в Петербурге от М. А. Голицыной [тогда еще княжны Суворовой]. Но свидетельство отрывка нас приводит опять в семью Раевских. Легенда, рассказанная Н. Н. Раевским Пушкину, конечно, была известна всей семье и, следовательно, всем сестрам. О них, разумеется, вспоминает Пушкин:

Младые девы в той стране
Преданья старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали».

Второе препятствие серьезнее, ибо мы имеем дело с недвусмысленным заявлением самого Пушкина. Поэт писал Дельвигу: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes».

На сей раз даже черновики не выручили Щеголева. Сохранились два черновых наброска этого письма, и в обоих совершенно явственно стоит буква К.

Прежние комментаторы Пушкина под этой буквой разумели Екатерину Николаевну Раевскую (в 1821 году уже Орлову). Совершенно основательно Щеголев протестует против такого отожествления: «Невозможная грубость именно такого упоминания, — говорит он [“Катерина поэтически описывала” и т. д.] — обходится ссылкой на то, что Пушкин, конечно, ставил тут уменьшительное имя. Выходит так, что Пушкин, столь щекотливый в делах интимных, Пушкин, раньше горько досадовавший на разглашение интимного признания, не содержавшего намека на имя, теперь совершенно бесцеремонно поставил первую букву имени женщины, мнение которой — это известно биографам — он так высоко ставил и с мужем которой был в дружеских отношениях. Явная несуразность!»

Совершенно верно! Но Щеголев упускает из виду, что любое женское имя, поставленное в данном контексте, звучало бы почти также несуразно, как Катерина. Отсюда как будто явствует, что буква К должна быть понимаема как инициал фамилии, а не имени. Щеголев, конечно, примирился бы с таким толкованием, если б ему удалось найти где-нибудь, в более или менее подходящем месте черновых тетрадей, пусть зачеркнутую и перемаранную, букву Р. Но такой буквы не оказалось, и потому он предпочитает заподозрить Пушкина в сознательной мистификации.

Нескромность, совершенная Булгариным, была еще свежа в памяти, когда Пушкин писал к Дельвигу. К тому же отрывок из этого письма, на сей раз, по-видимому, с разрешения автора, появился в «Северных цветах» 1826 года. И Щеголеву «совершенно ясен тот смысл, который поэт влагал в это известие для читателей, для знакомых и друзей. Раньше, по слухам и по публикации Булгарина, мысль любопытного могла бы обратиться на одну из сестер Раевских. Но теперь сам Пушкин обозначил фамилию этой женщины неожиданной буквой К, да кроме того прибавил, что рассказ о фонтане он слышал еще до посещения Бахчисарая или Крыма».

По этому поводу необходимо заметить, что если уж брать под подозрение искренность Пушкина, то с равным или даже с большим правом можно заподозрить сообщения, сделанные в переписке с Бестужевым, и особенно в последнем письме, которое дает Щеголеву главный аргумент в пользу его теории. Бестужев не был близким другом Пушкина. Во всяком случае, он стоял от него гораздо дальше, чем Дельвиг, и мог рассчитывать на меньшую откровенность со стороны поэта. Издатели «Полярной звезды» — Бестужев и Рылеев, около которых в описываемое время постоянно терся Булгарин, — уже успели допустить целый ряд бестактностей. Поэтому весьма вероятно, что именно в письме к Бестужеву Пушкин сделал попытку направить внимание любопытных на ложный след: умышленно смешал «элегическую красавицу», к которой относилась пьеса «Редеет облаков летучая гряда», с вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана», с тою женщиною, в которую «долго и глупо» был влюблен Пушкин.

Щеголев хорошо понимал, что вся его теория, построенная на недосказанных намеках, должна была неизбежно остаться в состоянии более или менее шаткой гипотезы. Он искал документального подкрепления для своих взглядов и наконец нашел таковое опять-таки в зачеркнутой и с трудом поддающейся прочтению строчке. В черновой тетради, которую осенью 1828 года Пушкин брал с собою в Малинники и в которую он записал первоначальную редакцию посвящения «Полтавы», наряду с перебеленным текстом этого посвящения, сохранился ряд исчерканных предварительных набросков. Из них явствует, что строка

Твоя печальная пустыня

далась Пушкину не сразу. Он перебирал различные эпитеты: суровая пустыня, далекая пустыня и, наконец, «Сибири хладная пустыня».

По мнению Щеголева, этот вариант бесповоротно решает вопрос. В 1828 году Мария Николаевна Раевская, в замужестве

княгиня Волконская, находилась в Сибири, куда добровольно последовала за своим мужем, осужденным в каторжные работы после 14 декабря. «Последний звук ее речей», о котором говорится в посвящении, Пушкин имел возможность слышать в Москве, на вечере у княгини Зинаиды Волконской, в чьем доме останавливалась Мария Николаевна перед своим путешествием на восток.

Гершензон немедленно возразил, что Щеголев прочел спорную строчку неверно. На самом деле она читается так:

Что без тебя мир?
Сибири хладная пустыня.

Т. е. Пушкин хотел этим стихом лишь сказать, что без любимой женщины мир для него так же безотраден, как сибирская пустыня. Вместо ответа Щеголев в приложении к своему исследованию воспроизвел фототипически и в транскрипции листы 69 и 70 черновой тетради. Рассматривая эти запутанные брульоны, трудно по совести решить, кто стоит ближе в истине — Щеголев или Гершензон. Слово «пустыня» появляется в разных сочетаниях первых строк наброска. Эпитеты «суровая» и «далекая» действительно как будто говорят за то, что упоминание о Сибири не имеет характера случайности. Само спорное место, если отметить в скобках слова, зачеркнутые Пушкиным, имеет следующий вид:

[свет]
[Что без тебя] [св?] [мир]
[Что ты] [единая] [одна]
одно
сокровище [Сибири хладная] [пустыня].

Нельзя не согласиться, что упоминание о Сибири служит весьма сильным доводом в пользу тезиса, выдвинутого Щеголевым. Однако самая возможность продолжения спора со стороны Гершензона указывает, что упоминание это не является тем неопровержимым документальным подкреплением, которого искал рьяный поборник Марии Раевской.

II

Но сам исследователь, увлеченный своею находкой, не заметил этого. Для него утаенная любовь Пушкина к княгине М. Н. Волконской — непреложный и не подлежащий дальнейшему оспариванию факт, и он берется «набросать, правда, неполную, зато действительную историю и даже выяснить индивидуальные особенности этой привязанности поэта».

«Дух и творчество Пушкина питались этим чувством несколько лет… Чувство Пушкина могло зародиться еще на Кавказе, во время совместного путешествия, облегчающего возможность сближения. Вся семья Раевских соединилась в Гурзуфе в двадцатых числах августа 1820 года. Здесь Пушкин провел "счастливейшие минуты своей жизни". Его пребывание в Гурзуфе продолжалось три недели и здесь расцвело и захватило его душу чувство к М. Н. Раевской, тщательно укрываемое. Мы знаем, что с отъездом Пушкина из Крыма не прекратились его встречи с семьею Раевского, и, следовательно, Марию Николаевну Пушкин мог встречать и во время своих частых посещений Каменки, Киева, Одессы и во время наездов Раевских в Кишинев к Екатерине Николаевне, жившей тут со своим мужем Орловым. Но чувство Пушкина не встретило ответа в душе Марии Николаевны, и любовь поэта осталась неразделенной. Рассказ кн. Волконской в "Записках" хранит отголосок действительно бывших отношений, и надо думать, что для Марии Раевской, не выделявшей привязанность к ней Пушкина из среды его рядовых, известных, конечно, ей увлечений, остались скрытыми и глубина чувства поэта, и его возвышенность. А поэт, который даже в своих черновых тетрадях был крайне робок и застенчив и не осмеливался написать ее имя, и в жизни непривычно стеснялся, и, по всей вероятности, таился и не высказывал своих чувств. В 1828 году, вспоминая в посвящении к "Полтаве" свое прошлое, поэт признавал, что его "утаенная любовь" не была признана и прошла без привета. Этих слов слишком достаточно,

чтобы определить конкретную действительность, о которой они говорят. В августе 1823 года, в письме к брату, Пушкин вспоминал об этой любви, как о прошлом, но это было прошлое недавнее, а воспоминания были остры и болезненны. В это время он только что закончил или заканчивал свою поэму о фонтане, и ее окончание в душевной жизни поэта вело за собой и некоторое освобождение из-под тягостной власти неразделенного чувства.

Надо думать, что к этому времени он окончательно убедился, что взаимность чувства в этой его любовной истории не станет его уделом. Зная страстность природы Пушкина, можно догадываться, что ему нелегко далось такое убеждение. Тайная грусть слышна в часто звучащих теперь и иногда насмешливых напевах его поэзии, обращениях к самому себе: полно воспевать надменных, не стоящих этого; довольно платить дань безумствам и т. д…

Но неразделенная любовь бывает подобна степным цветам и долго хранит аромат чувства. Сладкая мучительность замирает и сменяется тихими воспоминаниями: идеализация образа становится устойчивой, а не возмущенная реализмом чистота общения содействует возникновению мистического отношения к прошлому. Исключительные обстоятельства — великие духовные страдания и героическое решение идти в Сибирь за любимым человеком — с новой силой привлекли внимание поэта к этой женщине, едва ли не самой замечательной из всех, что появились в России в ту пору, и образ ее не только не потускнел, но заблистал с новой силой… Затихшее чувство снова взволновалось, и чистый аромат неразделенной любви стал острым и сильным. Все увлечения поэта побледнели, подобно свечам, бледнеющими перед лучами дня. Пустыня света обнажилась. В эти минуты у поэта было одно сокровище, одна святыня — образ М. Н. Волконской, последний звук ее речей». Эта гипотеза (или это «открытие» — как говорили многие) имела большой успех в специ-

альной литературе по пушкиноведению и была принята почти без возражений. Редактор академического издания сочинений Пушкина заимствовал ее целиком и даже распространил гораздо дальше, нежели, быть может, было желательно самому Щеголеву. Так, в 1827 году Пушкин начал, но бросил, не доведя до конца, стихотворение о поездке в Италию какой-то близкой ему, но нам не известной женщины.

Kennst du das Land
Wilh. Meist.

По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву.

* * *

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет?
…………………………………..
Италия, волшебный край,
Страна высоких вдохновений!
Кто-ж посетил твой древний рай,
Твои пророческие сени?
На берегу роскошных вод,
Порою карнавальных оргий,
Кругом ее кипит народ,
Ее приветствуют восторги.
Мария северной красой,
Все вместе томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет
И поневоле увлекает
Их пестры волны за собой… и т. д.

В примечании академического редактора к этому стихотворению читаем: «Поэт издалека следил за Марией Николаевной; он знал о печальной участи человека, с которым она соединила свою судьбу… Прежнее чувство оживилось — и душой поэта снова овладел образ вечно милой женщины, являвшейся теперь в новом ореоле высокого подвига, соединенного

с лишениями и страданиями… Но воображение поэта рисует ему тот же милый образ и в других красках, и в другой обстановке. Ему вспоминается давнишнее, также навеянное песней Миньоны стихотворение “Желание”:

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга и пр.

Мечта переносит его в этот “златой предел, любимый край Эльвины” (конечно, все той же Марии), — и поэт торопливо набрасывает сохранившийся в том же Майковском собрании рисунок этого края:

Я знаю край, там вечных волн
[У] берег [ов] [седая пена]
Уединенно [там] на брега
Седое море [седая пена] вечно плещет —
Там редко [стелются] снега
[Там опаленные луга]
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга
[Там тени нет] дубрав не видно
[Дубрав там] степь нагая
Над морем стелется одна.

Но эти едва намеченные стихи брошены. Фантазия увлекает поэта в другой край, — настоящий край Миньоны, о котором в молодости он так пламенно мечтал и который теперь является в такой резкой противоположности с далекою, холодною пустыней Сибири, где любимая женщина несет свой тяжкий, добровольный крест. Первоначальное желание изобразить “Марию” в рамке крымской природы уступает место другому, уже не реальному, а совершенно фантастическому рисунку на фоне “Златой Авзонии”. Что нужды в том, что “Мария” никогда не была в Италии? она могла там быть. А если она в самом деле туда явилась, то какое впечатление произвел бы на нее “волшебный край” и как отнеслись бы к ней его обитатели? Конечно, не иначе как с

восторгом перед ее “северной красой”. Но она могла явиться в Италию даже не одна, а с “младенцем” — с тем первым сыном “Николино”, на смерть которого Пушкиным написана трогательная эпитафия, — и тогда, конечно, новый Рафаель мог бы написать с нее новую Мадонну…

Сопоставление в эпиграфе песни Миньоны и припева о клюкве указывает на то, что фантастическая картина волшебного края, “где апельсины зреют и в темной зелени блестит златой лимон”, должна была смениться в воображении поэта реальной картиной “далекой северной пустыни, где растет эта немудреная кислая ягода”».

Совершенно очевидно, что при таком способе толкования любой предмет должен напоминать М. Н. Раевскую: Сибирь и Италия, лимон и клюква, стих: «Там, там, где тень, где лист чудесный» и «Там тени нет, дубрав не видно». Все пути ведут в Рим, куда, как известно, и попала героиня разбираемого стихотворения. Академический редактор выполнил «главное методологическое требование» П. Е. Щеголева, непременное условие научного характера работы: он отправляется от подлинных пушкинских рукописей. И, однако, приходит к явно нелепым выводам. Все его длинное рассуждение, выписанное выше, представляет собою блистательную reductio ad absurdum гипотезы Щеголева.

Разумеется, почтенный историк, в общем, весьма осторожный и обладающий чувством меры, не ответственен за ошибки и преувеличения своего последователя. Сам он высказывается с несравненно большей сдержанностью, и его теория, не имеющая, по крайней мере, на первый взгляд, ничего неправдоподобного, подкупает своей красивостью и поэтичностью.

Но не позволим подкупать себя! Слишком поэтические, слишком эффектные версии всегда отчасти подозрительны; действительность так часто бывает грубее и проще, нежели те представления, которые мы создаем себе относительно нее.

Нам приходилось однажды слышать, как некто, много имевший дела со специальной пушкинской литературой, говорил: «Современный комментатор любого из стихотворений Пушкина ставит совершенно определенно свой тезис: он задается целью доказать, что Пушкин был похож на покойного С. А. Венгерова: был политическим радикалом, как Венгеров, нравственен и корректен, как Венгеров; гуманен и демократичен, как Венгеров, и антимилитарист, как Венгеров».

Конечно, в этих словах все же содержится некоторое преувеличение, и П. Е. Щеголев не заслужил этого упрека в столь резкой форме. Но ведь отчасти он мог поддаться этой слабости, и если не Венгерову, то хоть самому себе уподобить Пушкина, а свое увлечение М. Н. Раевской, увлечение историка и биографа, сообщить задним числом страстному поэту.

III

Теория Щеголева покоится на целом ряде отдельных свидетельств, из коих каждое устанавливает определенный факт или, по крайней мере, позволяет верить в его возможность. Так, не подлежит сомнению, что Пушкин увлекался одною из сестер Раевских, будучи в Крыму, что он слышал впервые легенду о бахчисарайском фонтане из уст молодой женщины (которую, впрочем, сам обозначал буквою К), что поэма наполнена воспоминаниями о неудачной любви, что он сердился на Бестужева за напечатание последних строк его элегии, посвященных одной из Раевских, и говорил, что дорожит ее мнением больше, чем мнением журналов и публики; наконец, несомненно, что слово Сибирь встречается в посвящении «Полтавы».

Сверх того, весьма вероятно, что образы Черкешенки и Заремы созданы под воспоминанием о Марии Раевской.

Особенность теории Щеголева состоит в том, что она эти разрозненные указания собирает воедино. Таким образом, перед нами цепь уравнений: «элегическая красавица» = женщи-

на, рассказавшая легенду о фонтане = героиня увлечения, пережитого в Крыму = особа, на которую намекает «Разговор книгопродавца с поэтом» и любовный бред крымской поэмы = предмет утаенной любви, засвидетельствованной посвящением «Полтавы» — Мария Раевская.

Невозможно не заметить, что далеко не все звенья этой цепи достаточно прочно спаяны между собой: в двух случаях скрепой служат вымаранные строчки черновиков, один раз Щеголеву приходится допустить, что Пушкин умышленно поставил одну начальную букву имени вместо другой, и один раз он основывается на словах влюбленного и далекого от всякой объективности графа Олизара.

Впрочем, все это еще сравнительно неважно. Строки в письме Пушкина к Бестужеву являются довольно веским доводом и позволяют забыть об относительной слабости остальных, с ним смежных. Гораздо хуже то, что вне поля зрения исследователя остаются и надлежащего объяснения не получают некоторые другие факты, тоже частью несомненные, а частью весьма вероятные.

Таково прежде всего свидетельство стихов о неудачной любви и творческом бесплодии («а я, любя, был глуп и нем»), начавшемся еще до поездки на юг и прекратившемся в первую же ночь по приезде в Крым, на корабле, в виду Гурзуфа, где, по предположению Щеголева, Пушкин окончательно влюбился в Марию Раевскую. В своей критике положений Гершензона Щеголев как-то обходит этот вопрос и только упрекает своего оппонента в незнакомстве с черновыми рукописями или в неумении пользоваться ими.

На втором месте следует напомнить положение букв NN в Донжуанском списке. Совершенно несомненно, что эти буквы стоят среди имен петербургского, а не южного периода. Правда, хронологический порядок в списке не имеет абсолютной точности; правда так же, что это альбомная шутка, а не серьезный документ. Поэтому решающего значения он

иметь не может. Все же мы получаем право еще раз вглядеться в этот перечень: быть может, нам удастся заметить какие-нибудь особенности, которые раньше ускользнули от нашего взора.

И действительно, при внимательном рассмотрении мы одну такую особенность замечаем.

Имена Катерины и Натальи повторяются в списке: первое — четыре, а второе — два раза. Чтобы не сбиться в счете, Пушкин с юмористической важностью ставил против этих имен римские цифры, словно то были имена королев. Так, мы имеем Катерину I, затем — II, III и IV. Против имени первой Натальи также красуется единица. Но вторая Наталья — Н. Н. Гончарова — не имеет около себя никакой цифры. Если перед нами не простой недосмотр, если пропуск сделан сознательно, то он может иметь только одно объяснение: Н. Н. Гончарову нельзя было поименовать, как Наталью II, ибо Наталья II была указана выше, хотя и скрытым образом в виде букв NN; нельзя было назвать последнюю Наталью и Натальей III, ибо тогда раскрылась бы тайна пропущенного имени. И потому Пушкин вовсе пропустил цифру.

Само собой разумеется, это еще не решающий довод, это только намек, только беглое указание, которому мы, однако, должны последовать.

Где под пером Пушкина встречается имя Натальи? Лицейские стихи к Наталье, молодой актрисе, сюда, очевидно, не относятся, равно как и письма и другие обращения к жене. Но уже то обстоятельство, что в черновиках «Полтавы» Мария Кочубей первоначально называлась Натальей, должно заставить нас призадуматься. «Я люблю это нежное имя» — гласит английский эпиграф, замененный в печатном издании цитатой из байроновского «Мазепы». Какое имя? Наталья или Мария? Весы как будто колеблются.

Но продолжим наши поиски.

Как уже было сказано, Н. Н. Раевский младший, по-видимому был [и притом едва ли не он один] посвящен в

секрет утаенной любви Пушкина. В мае 1825 г. он писал поэту из Белой Церкви: «Отец и мать вашей графини Натальи Кагульской уже неделю как находятся здесь. Я им читал публично вашего Онегина; они в восхищении»[17].

Л. Н. Майков, впервые опубликовавший это письмо, с недоумением замечает, что никаких графов Кагульских ему не удалось обнаружить в России в первой четверти XIX века. Но, конечно, комментатор шел неправильным путем: здесь не фамилия, но прозвище, понятное двум друзьям. И прозвище это немедленно приводит на память два стихотворных отрывка, из коих первый относится к 1819, а второй к 1821–1823 годам.

I

Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской,
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный!
Не смелый подвиг Россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский Великан
Меня воспламеняют ныне…

30 марта 1819

II

Чугун Кагульский, ты священ
Для Русского, для друга славы,
Ты средь торжественных знамен
Упал, горящий и кровавый,
Героев Севера — губя,
Но…

---

[17] В оригинале: “Le père et la mère de votre Comtesse Natalie de Cagoul sent ici depuis une semaine. Je leur ai lu en séance public votre Онегин; ils en sont enchantes”.

П. В. Анненков, комментируя первую пьесу, заметил, что она содержит «намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный Лицей». Указание не совсем точное, поскольку в 1819 году Пушкин уже давно не был лицеистом. Однако любовный характер стихов, вопреки мнению академического редактора, не подлежит спору. Поэт приближается к памятнику, воздвигнутому в Царском Селе в честь победы Румянцева над турками при Кагуле — «воспоминаньем упоенный». Очевидно, он вспоминает о каком-то событии из собственной жизни, связанном с этим памятником, о какой-то встрече, имевшей место вблизи него, и воспоминанье это вызывает в нем благоговение и тоску. Второе стихотворение, обращенное к осколку турецкой бомбы, подобранному на кагульском поле, не содержит, в отличие от первого, определенно выраженных любовных элементов. Перед нами только первая часть антитезы: образы битвы и военной славы. Однако аналогия с отрывком 1819 г. и многозначительная частица но, начинающая последнюю, ненаписанную строчку, позволяет угадать дальнейшее развитие поэтической темы: кагульский чугун, священный для сердца каждого русского, вследствие воспоминаний о кровопролитной битве, приводит на ум поэта другие, более мирные картины. Торжественная ода должна была перейти в унылую элегию.

Итак, мы имеем три указания, тесно примыкающие одно к другому: в 1819 г. Пушкин при взгляде на кагульский памятник вспоминал, и притом с чрезвычайным лирическим подъемом, какую-то любовную сцену, связанную с царскосельским парком; в 1821 году или немного позднее эти воспоминания вновь пробудились, лишь только он увидел осколок кагульского ядра; наконец, в 1825 г. Н. Н. Раевский, знавший, конечно, что сообщение это способно заинтересовать Пушкина, писал о своем свидании с родителями графини Натальи Кагульской, прозванной так, надо полагать,

в честь кагульского памятника, бывшего свидетелем ее встречи с поэтом. Встреча, происшедшая не позднее 30 марта 1819 г., очевидно, оставила весьма глубокое впечатление, если друг не счел неуместным напомнить о ней шесть с лишним лет спустя.

Но какое фамильное имя носила таинственная графиня Наталья?

Об этом можно узнать от того же Раевского. Его письмо к Пушкину датировано 10 мая 1825 г. А за девять дней перед тем он писал из Тульчина (в окрестностях Каменки) брату Александру: «Вы не сообщаете мне никаких новостей с тех пор, как находитесь в Белой Церкви. Вот что я могу сказать вам наиболее интересного: я представлялся Кочубеям, проезжая здесь, и только что вернулся из паломничества в Антоновку»[18].

Это письмо дает искомое решение задачи. Пушкинская графиня Наталья была не кто иная, как Наталья Викторовна Кочубей, дочь графа Виктора Павловича, министра внутренних дел, путешествовавшего, как известно, в 1825 г. по югу России.

Имя Натальи Кочубей не является вполне незнакомым исследователям и комментаторам Пушкина. Но они не отводят ей в биографии поэта того видного места, на которое, по нашему предположению, она имеет право.

О ней обычно упоминают, комментируя лицейское стихотворение «Измены» — одно из самых ранних, отнесенное первыми издателями к 1812 г., но в действительности написанное, по-видимому, в 1815 г., а также послания 1816 г. «К Наташе» (предположение А. А. Блока) и, наконец, уже совершенно ошибочно, стихи, сопровождавшие оду «Вольность» («Простой воспитанник природы» и т. д.) и печатавшиеся

[18] Vous ne me donnez aucune nouvelle depuis que vous êtes a Biela Tserkof. Voici ce que je puis vous dire de plus interessant. Je me suis présente chez Kotchubey a mon passage par ici et je reviens d'un pèlerinage a Antonowka.

прежде в числе пьес 1827 г., но академическим изданием правильно отнесенные к 1819 г. и связанные с именем княгини Е. И. Голицыной. Мимоходом называет Наталью Викторовну Кочубей граф М. А. Корф, по словам которого, она была первым лицейским увлечением Пушкина. Из указания Корфа можно заключить, что после 1812 г. семья Кочубеев жила в Царском Селе и что Наталья Викторовна посещала лицей. Наконец, сам Пушкин говорил П. А. Плетневу, что именно она описана в XIV строфе восьмой главы «Онегина»:

К хозяйке дама приближалась,
За нею — важный генерал… и пр.

Последнее указание весьма знаменательно, ибо эти строки относятся к Татьяне, которую Онегин впервые видит на великосветском рауте. Это значит, что Пушкин думал о Н. В. Кочубей еще во второй половине двадцатых годов и, быть может, встречался с нею в свете. Но на этом кончаются все наши положительные сведения об отношении поэта к графине. Впрочем, и о ней самой мы знаем очень немного. Она родилась в 1800 году. Ее отец был в числе ближайших сотрудников императора Александра I, да и при Николае занимал исключительно высокие посты, до председательствования в государственном совете и в совете министров включительно. Императрица Александра Федоровна, жена Николая I, в своих мемуарах рассказывает: «Теперь приспело время поговорить о семье Кочубеев. Они находились в отсутствии в течение нескольких лет, и лишь в 1818 г. граф, графиня и их красивая дочь Натали были мне представлены в Павловске».

Вскоре после этого представления Наталья Викторовна вышла замуж за графа Александра Григорьевича Строганова. О муже ее мы знаем несколько больше, нежели о ней. Представитель одной из богатейших фамилий в империи, он получил образование в корпусе инженеров путей сообщения, по окончании курса в котором определился в лейб-гвардии

артиллерийскую бригаду, участвовал в войнах против Наполеона начиная с 1812 г., отличился под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом и был свидетелем первой капитуляции Парижа. В 1831 г. он еще находился на действительной военной службе и усмирял польских повстанцев, но в 1834 г. перешел в министерство внутренних дел и был сразу назначен товарищем министра; затем последовательно был черниговским, полтавским и харьковским генерал-губернатором, управлял министерством внутренних дел в 1839–1841 гг., состоял членом государственного совета, был петербургским военным губернатором (в 1854 г., во время Крымской кампании) и, наконец, в течение девяти лет занимал должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Жена его скончалась 22 января 1855 г., но сам он намного пережил ее и умер только в 1891 г., не дотянув лишь четырех лет до сотого дня своего рождения. Весьма возможно, что это исключительное долголетие повлекло за собою одно последствие, которое нам на всякий случай нужно иметь в виду. Все упоминания о графе А. Г. Строганове, а также о жене его, в многочисленных мемуарах, принадлежащих разным лицам и изданных при его жизни, очень сдержаны и скупы на подробности. Поэтому отношение Пушкина к графине неизбежно должны были остаться в тени, если б даже кто-нибудь из друзей поэта о них и догадывался.

IV

Теперь сопоставим скудные данные, сохранившиеся о графине Н. В. Кочубей, со всем тем, что нам известно об утаенной любви Пушкина.

Оба стихотворения кагульскому памятнику, несомненно, навеяны воспоминанием о графине Наталье Кагульской, т. е. Н. В. Кочубей. Но обратим внимание на дату первого стихотворения — 30 марта 1819 г. Само стихотворение сохранилось в двух вариантах, несколько отличающихся один от другого. В одном, по-видимому позднейшем, варианте дата стоит под

стихами. В другом, раннем и, во всяком случае, менее обработанном, она входит в состав заглавия: «К Кагульскому памятнику, 1819 г., 30 марта». Пушкин часто датировал свои стихи не днем их фактического написания, но днем того события, к которому они относились. Так, стихотворение «Герой» датировано днем приезда Николая I в объятую холерой Москву. То же могло повториться и в данном случае, на что, по-видимому, указывает присоединение даты к заглавию и, сверх того, настойчивое повторение датировки в обоих незаконченных вариантах. Если эта догадка справедлива, то отсюда следует, что Пушкин либо встретился с графиней Н. В. Кочубей 30 марта 1819 г. вблизи Кагульского памятника, либо, что гораздо вероятнее, один навестил этот памятник и при этом вспомнил встречу с графиней, совершившуюся на этом месте когда-либо раньше.

Из заметки М. А. Корфа мы знаем, что Пушкин впервые познакомился с графиней около 1812 г. В это время и она, и будущий поэт были еще детьми. Любовь в собственном смысле слова вряд ли могла при таких обстоятельствах зародиться, но легко представить себе случайную встречу на прогулке в виду памятника, встречу, прочно сохранившуюся в памяти Пушкина. Затем в течение нескольких лет Кочубеи находились в отсутствии. Их представление великой княгине (позднее императрице) Александре Федоровне последовало в 1818 г. Немедленно после этого «красивая Натали», конечно, начала выезжать и, вероятно, встречалась с Пушкиным в обществе. Можно думать, что он влюбился в нее в начале 1819 года, что подтверждается между прочим положением букв NN в Донжуанском списке. Дата 30 марта 1819 г. отметила кульминационный пункт этой любви, отвергнутой и неразделенной. В «Разговоре книгопродавца с поэтом», желая обрисовать (умышленно неясными чертами) места, с которыми было связано самое значительное из любовных увлечений его жизни, Пушкин говорит: «Там, там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи».

Характерно, что комментаторы видели в этих строках ясное указание на Крым, когда как тени и листьев сколько угодно в Павловском и Царскосельском парках, а выражение «вечные струи» больше подходит к струям дворцовых фонтанов, нежели к волнам Черного моря или даже к Бахчисарайскому фонтану, вода из которого льется не струей, но каплями, похожими на слезы. Раннее знакомство Пушкина с Н. В. Кочубей позволяет с известной долей вероятности отнести к ней еще один черновой набросок 1819 г.

… она при мне
Красою нежной расцветала
В уединенной тишине…
В тени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав…
Она цвела передо мною,
Ее чудесной красоты
Уже угадывал мечтою
Еще неясные черты.
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук…

Стихи, послужившие впоследствии прообразом той строфы Онегина, в которой описываются отношения Ленского к Ольге Лариной, были набросаны в незаконченном виде летом 1819 года, во время пребывания поэта в отпуску в Михайловском. Осенью он вернулся в Петербург, а зимою в его творчестве вдруг наступила полоса упадка, длившаяся несколько месяцев и закончившаяся только в Крыму:

А я, любя, был глуп и нем.

Все же, кроме нескольких необработанных отрывков и эпиграмм, он успел создать за эти месяцы два совершенно законченных стихотворения — и по заглавию, и по содержанию тесно примыкающие одно к другому. Оба они написаны в чисто антологическом роде, но в свете уже известных нам

данных в них можно усмотреть кое-какие автобиографические намеки.

I

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

(январь)

II

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые…
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял: но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

В предварительном наброске «милые черты» обрисованы несколько рельефнее:

[Другой мне чудились]
И кудри черные, и черные ресницы.

Итак, у поэта есть возлюбленная по имени Дорида. Она принадлежит к числу «харит», т. е. тех женщин, у которых «стыдливость робкая» является бесценным и редким даром, ибо в подавляющем большинстве своем они лишены этого дара. Они легкодоступны. Нет ничего проще, как, оставив «пир ночной» с приятелями, отправиться к ним, чтобы «пить

негу». Но и в объятиях хариты поэта преследует воспоминание о другой, которую одну он любит подлинной, неискоренимой любовью. К несчастью, эта другая

Отвергла заклинанья,
Мольбу, тоску души…

Она, словно божество, не нуждается в излиянии земных восторгов и предстоит поэту лишь как бесплотная мечта. Наше изъяснение стихов, обращенных к Дориде, могло бы показаться искусственным и натянутым, если б его нельзя было подкрепить ссылкой на прозаический отрывок, относящийся к тому же 1819 г. Здесь узнаем мы настоящее имя и совершенно недвусмысленное общественное положение хариты с золотыми локонами, которую по паспорту звали не Дорида, а Надежда, в просторечии Надинька.

«У гусара Ю. было дружеское собрание. Несколько молодых людей — по большей части военные — весело проигрывали свое именье поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал по две карты. Тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались на пол и пыль.

— Неужто два часа ночи? Боже мой, как мы засиделись. Не пора ли оставить игру? — сказал Виктор N молодым своим товарищам. Все бросили карты и встали из-за стола… Всякий, докуривая трубку, стал считать свой или чужой выигрыш, и облака стираемого мела смешались с дымом турецкого табаку. Поспорили и разъехались.

— Поедем вместе, не хочешь ли вместе отужинать? — сказал Виктору ветренный Вельверов, — Я без ужина никак не могу обходиться, а ужинать могу лишь в кровати. Познакомлю тебя с очень милой девчонкой. Ты будешь меня благодарить. Виктор одобрил эту похвальную привычку. Оба сели в дрожки и полетели по улицам Петербурга».

На этом заканчивается отрывок, носящий заглавие «Надинька». Сюжетное сродство его со стихотворением «Дориде» более

чем вероятно. Рассказ должен был продолжаться по схеме, намеченной в этих стихах. Виктор N, оставшийся наедине с Надинькой, вспомнил бы «другие, милые черты» и т. д. Но мы не будем задаваться здесь целью воссоздать во всех подробностях прозаическую повесть Пушкина, едва начатую и оставленную на первой странице (ибо нельзя, как делают некоторые комментаторы, видеть в отрывке первый приступ к много позднейшей «Пиковой Даме»), а остановимся лишь на заглавии. Это последнее интересно в том отношении, что рядом с именем Надиньки стоит другое зачеркнутое имя — Эльвина, которое в данном контексте дает возможность построить ряд новых предположений.

Нет спора, что Эльвина, наряду с Делией, Хлоей, Темирой, Лидией и пр. принадлежит к числу условных, почти нарицательных имен элегической поэзии начала XIX века. Пушкин не раз пользовался им в своих ранних стихотворениях. Но несколько лет спустя, с совершенно иной, усиленно подчеркнутой интонацией, он сказал о Крыме:

> Златой предел… Любимый край Эльвины.
> Туда летят желания мои…

Посещала ли Н. В. Кочубей южный берег Крыма и Бахчисарай до 1819 г.? Мы не в состоянии с уверенностью ответить на этот вопрос, но, конечно, в факте подобного рода нет ничего невероятного. А допустив предположительно этот факт, мы получаем право вновь вернуться к известному уже рассказу Пушкина о создании поэмы о фонтане. «К. описывала мне» и т. д. Мы видели, как споткнулся об эту букву П. Е. Щеголев, как для спасения своей теории он был вынужден подозревать Пушкина в намеренной мистификации и предполагать, что поэт, писавший эти строки в 1824 г., предвидел, что в 1826 г. они будут опубликованы в «Северных цветах». Нам нет нужды прибегать к столь искусственным объяснениям. Фамилия Н. В. Кочубей начинается как раз этой буквой. Сопоставляя стихи о Дориде с отрывком, сохранившим имена Надиньки

и Эльвины, мы шли ощупью и в потемках. Выдержка из Пушкинского письма, естественным образом оказавшаяся в конце пути, подтверждает, что мы все таки не заблудились.

Любовь Пушкина к Н. В. Кочубей не встретила отклика. Он уехал на юг, унеся с собой бремя мучительных воспоминаний. «Сон любви забытой» тревожил его несколько лет кряду. Особенно живы и остры казались воспоминания, когда он жил в Крыму, где все напоминало об Эльвине. Но вместе с тем здесь подстерегало его новое чувство, менее глубокое, но зато доставившее больше счастливых минут. И, однако, летучая тень графини Натальи носилась перед его умственным взором по опустевшему ханскому дворцу Бахчисарая. Душа его раздваивалась. И «Пленник», и «Фонтан» хранят следы этой двойственности.

В «Кавказском пленнике», в сущности, две героини: одна присутствующая — черкешенка, другая — отсутствующая, никак не названная и не получившая никакой определенной характеристики, — неизвестная красавица, оставшаяся в России, предмет северной любви Пленника. В «Бахчисарайском фонтане» образ черкешенки несколько изменился: вместо юной, невинной девы горы перед нами грузинка Зарема, белее страстная, более ревнивая, более опытная в чисто женском смысле, несомненно, старшая годами. Последняя деталь, быть может, объясняется тем, что «натурщицей» для создания типа Заремы послужила уже не Мария Раевская или, во всяком случае, не она одна, а которая-либо из ее сестер — Екатерина или Елена. Но и характер безымянной, отсутствующей красавицы из первой южной поэмы претерпел во второй поэме значительную эволюцию. Она, правда, как и прежде, не стоит на первом плане, проводит все время в особом, замкнутом для всех гаремном притворе, опять-таки отсутствует в большинстве сцен. Но она уже получила имя и характеризуется вполне конкретными чертами. Конечно, она, а не Зарема, стоит в центре поэмы. Любовный бред должен был быть связан с нею. Ее летучая тень носилась перед

мысленным взором Пушкина, когда он прогуливался по Бахчисарайскому дворцу в обществе отнюдь не призрачной Марии Раевской.

Когда Пушкин в 1823 году говорил Туманскому, что многие места в поэме о фонтане относятся к женщине, в которую он был долго и глупо влюблен, он имел в виду Н. В. Кочубей. Она послужила в конечном счете оригиналом для создания образа пленной княжны и, что еще важнее, именно от нее он слышал впервые крымскую легенду. Немного времени спустя после этого в печати появилась элегия, посвященная одной из Раевских. Пушкин рассердился на напечатание трех последних строк ее, и горько пенял за это Бестужеву. Очевидно, по опыту он уже знал, как мнительны и обидчивы девицы Раевские, и боялся возбудить их гнев. В письме этом, датированном 12 января 1824 года, речь идет только об элегии «Редеет облаков летучая гряда» и других лирических пьесах, напечатанных в «Полярной звезде», но нет еще ни слова о «Фонтане». Об этом последнем заговаривает Пушкин лишь в письме от 8 февраля того же года, где, напротив, совсем не упомянута элегия и «дева юная», в ней выведенная. Сообщая, что недостаток плана не его вина и что он суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины, Пушкин опять-таки подразумевал гр. Н. В. Кочубей-Строганову. Но вот эти строки, имевшие вполне доверительный характер, угодили в руки Булгарина, а оттуда в печать. Пушкин испугался и рассердился еще больше. Ему угрожала опасность двоякого рода: во-первых, «Литературные листки» с заметкой Булгарина могли попасться на глаза Наталье Викторовне, которая справедливо отнесла бы их на свой счет; во-вторых, барышни Раевские ошибочно, хотя и с известным основанием, должны были сделать подобное же предположение. Ведь они, конечно, беседовали с Пушкиным о бахчисарайском фонтане слез, они флиртовали с ним в Крыму, они знали, что кое-какие намеки, к ним относящиеся, содержатся в поэме и что огненные черные глаза Марии Николаевны там увековечены. Пуш-

кин дорожил мнением Раевских больше, чем мнением всех журналов и всей публики. Он ни за что не хотел показаться перед ними нескромным и неделикатным. Но объясниться с ними начистоту он не имел возможности, не разоблачая того, что почитал в то время святынею своего сердца. Еще труднее было говорить об этом предмете в письме к Бестужеву. Издатель «Полярной звезды» принадлежал к числу исключительно литературных знакомых Пушкина. Даже на ты они сошлись заочно, по переписке. Говорить с Бестужевым совершенно откровенно, посвятить его со всеми подробностями во всю сложную ситуацию, предшествовавшую созданию «Бахчисарайского фонтана», казалось совершенно немыслимым. Обстоятельства дела повелительно требовали какой-либо ловкой дипломатической отговорки, которая, положив конец инциденту, помешала бы редакционной компании «Полярной звезды» совершать и впредь нескромные разоблачения в печати.

Такой дипломатической отговоркой и явилось письмо Пушкина от 29 июня 1824 года, в которой искусно смешана «элегическая красавица», называвшая Вечернюю звезду своим именем, с вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана». Пушкинская дипломатия имела такой успех, что не только современники, но и позднейшие исследователи, Щеголев — первый, были сбиты с толку и даже отказались верить самому поэту, когда, всего несколько месяцев спустя, он совершенно правильно обозначил имя вдохновительницы «Бахчисарайского фонтана» буквою К.

Напомним еще раз: эта буква встречается в письме к Дельвигу, человеку, несравненно более близкому Пушкину, нежели Бестужев. Предположение Щеголева, будто Пушкин сознательно поставил неверную букву, предвидя, что написанные им строки будут отданы Дельвигом в печать, притянуто, так говорится, за уши для спасения щеголевской гипотезы, и объективных оснований не имеет. Пушкин мог беседовать с Дельвигом гораздо свободнее, чем с Бестужевым. Нескромность Булгарина прошла незамеченной, не возбудив гнева

сестер Раевских, и Пушкин давно успокоился. А буква К. не грозила послужить ключом к загадке, способной занять чье-либо досужее любопытство. Наталья Викторовна была в это время уже замужем за Строгановым, и внимание любителей чужих тайн вряд ли могло обратиться в ее сторону. Но, быть может, Пушкину, когда отрывок из его письма действительно появился в «Северных цветах», было приятно довести этим способом до сведения графини, что он помнит ее и благодарен за сообщение сюжета для поэмы.

Понемногу, в течение ряда лет, любовь ослабела, воспоминания изглаживались. Пушкин в своих стихах не платил больше дани безумству, по крайней мере, безумству, связанному с предметом его петербургской, северной страсти. Но в 1828 г. в эпоху создания «Полтавы», воспоминания внезапно воскресли вновь. Что способствовало их пробуждению, мы не знаем. Быть может, случайная встреча в свете с графиней Н. В. Строгановой, а быть может только имя героини поэмы. Но не имя Мария, а имя Кочубей, было так естественно рассказ о Марии Кочубей посвятить Наталье Кочубей.

Известно, что самому себе и своей утаенной любви Пушкин отвел место не только в посвящении, но и в самой фабуле своей стихотворной повести.

Он поступил по примеру тех художников, которые рисуют иногда собственный портрет на заднем плане большой картины, вмещающей много фигур. Так и здесь влюбленный в Марию молодой казак, в первоначальных набросках носивший историческое имя Чуйкевича, но ставший безымянным в окончательной редакции, — есть не что иное, как силуэт самого влюбленного Пушкина. И это сходство, ясное и несомненное для той, которая должна была «узнать звуки», ей прежде милые, неизбежно наталкивало ее на другие сближения. Если б «Полтава» была действительно написана для Марии Раевской, то старого Кочубея пришлось бы отождествить с генералом Раевским, Петра Великого — с Николаем I (подобное сближение в других случаях не раз допускалось са-

мым Пушкиным, видевшим даже семейное сходство между двумя государями), заговор Мазепы оказался бы прообразом заговора декабристов, а роль мятежного гетмана совершенно естественно досталась бы князю С. Г. Волконскому. И, следовательно, к нему надобно было бы отнести стихи:

Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно, и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды,
С тех пор, как жив, не забывал;
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

С психологической точки зрения очень трудно и даже почти невозможно допустить, чтобы Пушкин написал такие строки о человеке, который в это время находился на каторге в числе других друзей, товарищей и братьев поэта. Трудность только возрастет, если мы вспомним, что князь Волконский был гораздо старше своей юной жены, так что в отношении ее действительно мог казаться почти стариком, и что его поведение во время суда над декабристами было не особенно благовидно, почему его, казалось, легко обвинить в том, что он не ведает святыни и не помнит благостыни.

Из своего сибирского острога декабристы внимательно следили за новинками тогдашней русской литературы, в частности за всем, что выходило из-под пера Пушкина. Княгиня М. Н. Волконская, несомненно, читала «Полтаву». Она не могла не понять личных намеков, содержащихся в этой поэме, если б они относились к ней, и с полным основанием

жестоко вознегодовала бы на поэта. А какую роль назначал себе Пушкин! Ведь это себя изобразил он в лице молодого казака, который, пускаясь в путь на север, как известно, больше всего дорожил своею шапкой:

Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру…

Связывать «Полтаву» с личностью Марии Раевской — это значит предполагать, что Пушкин готов был позавидовать лаврам Шервуда-Верного, выдавшего декабристов. Право, одного этого соображения достаточно, чтобы поколебать теорию Щеголева, если б даже она не имела никаких других уязвимых мест[19].

---

[19] Глава эта была уже написана, когда мне попалась книжка Бориса Соколова «Кн. Мария Раевская и Пушкин» (Москва 1922 г. изд. «Задруга»). Борис Соколов — усердный, но совершенно некритический последователь Щеголева — с полнейшей добросовестностью проделывает все отожествления и уподобления, о которых шла речь выше. Лишь темы о доносе он почему-то не коснулся в своем обзоре. Очень жаль! Во имя последовательности и логики следовало бы приписать Пушкину поэтическое намерение донести на декабристов. Донос есть во всяком случае более конкретная историческая черта, нежели рост, походка и фигура кн. М. Н. Волконской, по поводу которых г. Соколов цитирует пушкинские стихи:

Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья и т. д.

Замечательно, что, говоря о литературных источниках «Полтавы», г. Соколов приводит выдержку из поэмы Рылеева «Войнаровский», где говорится о юной казачке, последовавшей в Сибирь, за своим возлюбленным:

Она с улыбкою приветной
Увяла в цвете юных лет
Безвременно, в Сибири хладной,
Как на иссохшем стебле цвет
В теплице душной, безотрадной.

Применительно к Н. В. Кочубей всевозможные сближения действующих лиц поэмы с живыми, реально существовавшими людьми теряют свою остроту. Муж Натальи Викторовны — граф А. Г. Строганов — был всего на пять лет ее старше, и уже это одно исключало всякую опасность отождествления его с Мазепой. Он не устраивал никаких заговоров, а, напротив, делал блестящую карьеру. Для его жены, которая тоже, само собою разумеется, читала «Полтаву», это была не ее собственная жизненная история, нелепым образом искаженная, но история ее предков. Непосредственно к себе, если не считать посвящения, она могла отнести только одну строчку эпилога. Там, после упоминания о могилах Искры и Кочубея в Киево-Печерской Лавре, описывается наследственный парк Кочубеев:

Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.

Поэма должна так же была говорить о казненном пращуре внукам и в частности внучке.

Такова наша гипотеза об утаенной любви Пушкина и о посвящении «Полтавы». В отличие от П. Е. Щеголева, мы не считаем свое мнение безусловно и неопровержимо доказанным. Это только догадка, наиболее правдоподобная из всех, какие можно построить на основании материалов современного пушкиноведения. Слишком многое остается еще неустановленным и неразъясненным. Так, мы не имеем

Курсив в приведенных строках принадлежит самому Борису Соколову. Право, если б мы не знали доподлинно, что Рылеев повешен 13 июля 1826 года, то, пожалуй, нашелся бы какой-нибудь исследователь, который и в тексте «Войнаровского» отыскал бы прямые намеки на судьбу кн. Волконской. Но теперь цитата из Рылеева лишь доказывает лишний раз, что не всякое упоминание о Сибири должно быть непременно связываемо с женами декабристов.

подробных биографических сведений о Наталье Викторовне Кочубей, в частности, не знаем, посещала ли она Крым ранее 1820 г., и где была осенью 1828г., когда Пушкин писал посвящение поэмы. Лишь с крайней осторожностью можно высказать предположение, что она находилась в это время в одном из старинных Строгановских поместий на Урале, у сибирской границы. В последнем случае понятно было бы упоминание о Сибири в зачеркнутом варианте, составляющем краеугольный камень всей теории Щеголева. Но весьма возможно, что вопрос этот навсегда останется открытым. Если объектом утаенной любви Пушкина в самом деле была графиня Н. В. Кочубей, то к каким замечаниям общего характера уполномочивает нас подобное допущение? Какое действие оказала эта любовь на судьбу и поэзию Пушкина?

Вопрос этот следует расчленить. Что касается внешних событий, из которых слагалась жизнь поэта, то доля влияния, принадлежавшая Н. В. Кочубей, была совершенно ничтожна. Юная графиня не явилась косвенной виновницей изгнания поэта, как Е. К. Воронцова, или смертельной дуэли, как Н. Н. Пушкина, или хотя бы ссоры с другой близкой женщиной, как А. П. Керн, возбудившая ревность П. А. Осиповой. Наталья Викторовна внушила Пушкину сильную, болезненно напряженную любовь, но сама осталась холодна и равнодушна. Она даже не была кокеткой в отношении него. Она просто отвергла его заклинанья и мольбы.

Зато действие, произведенное на душевную жизнь поэта и на его творчество, было огромно. После кратковременного упадка творческих сил, совпавшего с тем временем, когда любовь была особенно интенсивна, Пушкин нашел в своем чувстве к Н. В. Кочубей-Строгановой новый, обильный источник поэтического возбуждения, не иссякавший до 1828 г. С воспоминаниями о Наталье Викторовне, кроме «Полтавы», можно связать «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Разговор книгопродавца с поэтом», некоторые лириче-

ские строфы «Евгения Онегина» и, наконец, по собственному признанию Пушкина, кое-какие штрихи в характере Татьяны. Несчастная любовь всегда и во все времена была наиболее плодовитой и удачливой музой. Подобно своему сверстнику Гейне, подобно своему младшему современнику Лермонтову и не говоря уже о более старых примерах Данте и Петрарки, Пушкин обязан неразделенной страсти лучшими минутами своего вдохновения.

Но при всем том не следует упускать из виду одно обстоятельство: всякая поэзия есть утверждение иллюзии в ущерб действительности. Поэзия окутывает лицо мира своим блистательным, многоцветным покровом, делает жизнь менее несносной, но зато скрывает и преображает истинные ее черты. Образ Н. В. Кочубей, влиявший на поэзию Пушкина, имел по всем вероятиям не много общего с тем житейским образом ее, который, быть может, удастся восстановить когда-либо, помощью историко-биографических изучений. Юноша Пушкин полюбил девушку, которую звали Наталья Викторовна и которая была дочерью министра графа Кочубея, а впоследствии сделалась женою генерал-адъютанта А. Г. Строганова. Но позднее, в течение долгих лет, поэт любил уже не эту девушку, не эту реальную женщину, а свою любовь к ней, задушевное порождение своей фантазии. И своим острым, проницательным умом он, конечно, понимал это. Такого рода замечание необходимо сделать, дабы предохранить себя от ложной, романтической идеализации, в которую так легко впасть, рассуждая о сердечной жизни Пушкина.

А между тем такая идеализация была бы здесь неуместна. В своей поэзии Пушкин заплатил богатую дань литературному романтизму, особенно в первой половине двадцатых годов. Но в нем самом крепко сидел человек XVIII столетия — чувственный и вместе с тем рассудочный, способный порою увлекаться почти до безумия, но никогда не отдававший себя

целиком. Мы имеем право сделать этот вывод, ибо из всех многочисленных любовных увлечений, нами рассмотренных, нельзя указать ни одного, которое подчинило себе вполне душу Пушкина. Кровь бурлила; воображение строило один пленительный обман за другим. Но в глубине своего существа поэт оставался «тверд, спокоен и угрюм». Он признавался в любви многим, но в действительности, как правильно указала княгиня Н. М. Волконская, любил по-настоящему только свою музу.

Приложение

Наталья I	Мария
Катерина I	Анна
Катерина II	Софья
NN	Александра
Кн. Авдотья	Варвара
Настасья	Вера
Катерина III	Анна
Аглая	Анна
Калипсо	Варвара
Пульхерия	Елисавета
Амалия	Надежда
Элиза	Аграфена
Евпраксия	Любовь
Катерина IV.	Ольга
Анна	Евгения
Наталья	Александра
	Елена

Донжуанский список Пушкина
(из Ушаковского альбома)



Елена Николаевна Раевская



Екатерина Николаевна Орлова,
урожденная Раевская



Графиня Е. К. Воронцова
(с оригинала, принадлежащего Пушкинскому Дому)



Евпраксия Николаевна Вульф,
в замужестве баронесса Вревская
(с оригинала, принадлежащего Пушкинскому Дому)



Анна Петровна Керн



Силуэты Анны Николаевны
и Евпраксии Николаевны Вульф
(с оригинала, принадлежащего Пушкинскому Дому)



Княгиня Мария Николаевна Волконская



Графиня Наталья Викторовна Кочубей
(с портрета работы Кипренского)

Оглавление

Популярное издание

Губер Петр Константинович

Донжуанский список Пушкина

Текст приводится в авторской редакции

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Новопольцева*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru